
НОВОСТИ
ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

РАБИНДРАНАТ ТАГОР

ВОСПОМИНАНИЯ

«ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА»
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО



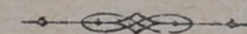
ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

РАБИНДРАНАТ ТАГОР

RABINDRANATH TAGORE

ВОСПОМИНАНИЯ

ПЕРЕВОД С ПРЕДИСЛОВИЕМ И
ПРИМЕЧАНИЯМИ М. И. ТУВЯНСКОГО



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА — МСМХХІV — ЛЕНИНГРАД

Настоящее издание отпечатано
в Типографии Первой Ленин-
градской Трудовой Артели Пе-
чатников (Моховая, 40) в коли-
честве 3.150 экз. — Ленинград.
Гиз. № 7025. Ленинградский
гублит № 4524

ВОСПОМИНАНИЯ

MY REMINISCENCES

1917

В. В. МОХОВАЯ — ЛЕНИНГРАД
ОБЩЕСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА

Рабиндранат Тагор доньше известен был русским читателям в ряде переводов с английского его лирических произведений; затем появились в переводах еще некоторые его драмы, рассказы и романы. У большинства читателей, однако, в памяти остался более всего — из периода первого знакомства с Тагором — образ Тагора-лирика. И вот у большинства из наиболее понимающих читателей от его лирики оставалось мало-благоприятное впечатление: какой-то вялой, сентиментальной мечтательности, выдержанной в неопределенных «восточных» тонах, мало самостоятельной и подражающей «вероятно, каким-нибудь англичанам». В более широких кругах, без разбора тяготеющих ко всему восточному, он был подхвачен с радостью, как какое-то подтверждение и воплощение литературных требований и вкусов, воспитанных теософическим и т. п. движениями. Ими Тагор был провозглашен «мистиком». И, наконец, меньше всего было таких, которые сквозь окружавшую его паутину искажений и лже-толкований добрались до подлинного, чисто-человеческого содержания поэзии Тагора. Но и для них он оставался таинственным незнакомцем, и облик его сохранял какую-то призрачную неопределенность ¹⁾.

¹⁾ Примером последнего может служить книга Е. Engelhardt'a: «Tagore» (1921).

Как на Западе, так, в особенности, и в России, Тагор настолько же знаменит—вернее, моден—насколько и непонят.

ПРИЧИНЫ НЕПОНИМАНИЯ ТАГОРА

Чем объясняется столь печальная судьба одного из величайших писателей современности?

Начнем с *языка*. Многие из его европейских читателей думают, что Тагор пишет по-английски. Но Тагор *бенгальский* писатель, и прежде всего лирик. И вот, перевод его стихотворений с сохранением размера и стихотворной формы подлинника представляет задачу почти непреодолимой трудности. А между тем ведь именно с лирических стихотворений началось знакомство Запада с Тагором. Неудивительно, что те бесформенные «стихотворения в прозе», которые преподнесены были — в особенности русским читателям — производили весьма бледное впечатление. Переводы же стихов Тагора не прозою, а произвольно выбранными размерами, представляют вообще издевательство над всеми принципами поэтического перевода.

Во-вторых, всякий перевод с восточного языка неизбежно требует от европейского читателя ознакомления с тем кругом восточных «идей» и «вещей», без которого вообще невозможно понимание данного произведения; даже будучи переведено на наш язык, оно останется для нас написанным «на другом языке», если мы не захотим вдуматься и усвоить кое-что из элементов данной восточной культуры. Поэтому поневоле всякий перевод с восточного языка должен приобрести внешний вид «научного издания»: он неизбежно требует *комментария*. Конечно, в изданиях для «широкой публики» такой комментарий должен ограничиваться самым необходимым. Но английские издатели боялись всяких комментариев, отпугивающих читателя, и поэтому при ознакомлении европейских читателей с Тагором с самого начала

сделана была крупная ошибка: он был выпущен в свет без всяких комментариев и в таком виде брошен был в читательскую гущу, не обладающую ни малейшим представлением о той духовной атмосфере, в которой выросла поэзия Тагора.

В самом деле, популяризация востоковедения как на Западе, так и, в особенности, в России, находится в плачевном состоянии; а в частности распространенные в образованных кругах сведения об Индии имеют характер какой-то жалкой карикатуры на действительность.

Какие сведения об Индии могли быть у русского читателя, который не интересовался индологией вплотную? Он мог прочесть книжки Р. Пишеля или Г. Ольденберга о буддизме, дающие лишь очень неопределенное представление о древнейшем периоде буддизма — в особенности с этической его стороны ¹⁾; из брошюр Чемберлена («Арийское мировоззрение») и Дейссена («Веданта и Платон») мог узнать о существовании школы Веданты, претендующей на единодержавие в мире индийской мысли; на лекциях или в статьях Андрея Белого мог услышать ряд мало-вразумительных индийских слов, в роде «аханкара» и т. п. — И больше ничего?

Но это не так. Об Индии и индийской мысли существует *и на русском языке огромная литература*, пестревшая до недавнего времени в окнах книжных магазинов; ряд солидных толстых и изящно-мелких книг и книжечек, иногда и иллюстрированных, то под пышно-индийскими именами и названиями, как Рамакришна, или Кармаиога, то под скромно-европейскими. И узнать из них можно так много, что, казалось бы, жаловаться на недостаток литературы не приходится.

Вот в этой-то литературе и вся беда. Ее наличие — гораздо большее зло, чем отсутствие всякой серьезной лите-

¹⁾ Вряд ли были замечены читателем прекрасные очерки о буддизме, издан. Музейным Отделом в 1920 г. в Ленинграде, не говоря уже о крупных трудах Щербатского и Розенберга.

ратуры. Во-первых, многие ее читают и ей верят. А во-вторых, содержащиеся в ней богатые сведения всякими путями растекаются кругом и создают вокруг самого слова «Индия» ореол феерической иллюминации, отталкивающий людей с неиспорченным вкусом и заслоняющий от взора ее подлинные черты. Как у себя на родине Тагор принадлежит к идейному направлению, резко враждебному всякому оккультизму, так и в Европе ложная картина индийской культуры, навязанная ей теософическими течениями, едва ли не более всего повинна в непонимании Тагора Европой ¹⁾.

Дать в нескольких словах представление о действительном содержании индийской идейной культуры — предприятие столь же немислимое, как на 2—3 страницах очертить развитие европейской мысли.

Прежде всего необходимо иметь в виду, что Индия — не «страна», как, например, Франция или Голландия, а целое море стран, племен, языков, религий и культур, объединенных, правда, известной общностью культурных элементов, но на фоне этой общности раскрывающих величайшее разнообразие. Между Европой и Индией существовали, правда, издавна, известные сношения; еще более интенсивные сношения были между Индией и китайско-японским миром. Но в основном Индия, как целое, шла во всех областях жизни и духа своими совершенно особыми путями, и в виду обширности ее территории и населения, а также продолжительности и непрерывности ее исторической жизни, может быть правильнее было бы сопоставлять Европу и Индию как европейское и индийское *человечества*, а не как «страны», «расы» и т. д. Индия тем так и интересна, что показывает нам иной, отличный от нашего, тип человечества, который

¹⁾ Пример подобной ложной картины можно найти в нашумевшей книге графа Кайзерлинга «Reisetagebuch eines Philosophen». В ней очень мало подлинного востока (и еще меньше философии).

развивался бы, в основном, с той же непобедимой последовательностью, если бы Европы вовсе и не было ¹⁾. Дейссен сравнивает справедливо впечатление, получаемое исследователем от богатства и своеобразия индийского творчества, с тем, которое мы имели бы, если б ознакомились с обитателями какой-нибудь иной планеты. Но, как и в Европе, на всем протяжении истории Индии можно заметить в разные эпохи известные основные направления, то существующие независимо, то борющиеся между собой. Мы постараемся вкратце охарактеризовать те два из них, которые непосредственно способны осветить духовную среду Тагора.

ИМПЕРСОНАЛИЗМ

Одно из своеобразнейших, доселе мало изученных, явлений душевной жизни — это явление *самопогружения*, известное в Индии под названиями *йога*, *самади* и др. Начинается оно обычно с напряженного сосредоточения мысли на каком-нибудь одном предмете, с исключением всех остальных, затем приводит к ослаблению деятельности органов чувств и, наконец, к полному трансу, т. е., с точки зрения наружного наблюдателя, к почти или совершенно бесчувственному состоянию. Такова объективная сторона этого явления; с внутренней же стороны невозможно дать ему столь же однозначную характеристику, ибо изнутри оно зависит всецело от того, какие идеи привыкло испытывающее его лицо связывать с этим состоянием; с психологической стороны оно окрашено чрезвычайно субъективно. Так как индивидуальная психология зависит, в громадной степени, от воспитания, то различные школы индийской мысли и различ-

¹⁾ Разумеется, об «отдельных человечествах» можно говорить, только имея в виду время до XIX века, когда впервые начало реально возникать на наших глазах единое человечество.

ные направления индийской культуры придавали этому состоянию с внутренней его стороны различный характер и различно его истолковывали и объясняли. Но общим для очень многих из них является *их высокая оценка самопогружения*, как главного и желаннейшего из жизненных переживаний. Целый ряд индийских религий объявил самопогружение высшим благом или непосредственной переходной ступенью к таковому.

Самопогружение есть, как это непосредственно ясно, своего рода уход от мира, от жизни, от себя, как живущего в мире. И если оно объявляется верховной ценностью, то, очевидно, это возможно только при той предпосылке, что деятельная жизнь, жизненная «суета» в обычном смысле слова, не может привести к высшему благу; значит—только при пессимистической оценке жизни и мира. Культ самопогружения неизбежно предполагает: *пессимизм, аскетизм и имперсонализм*. Главнейшая из индийских религий прошлого, провозгласившая все эти принципы, обосновавшая их тончайшей философской систематикой и глубоко разработавшая теорию и практику самопогружения, это—буддизм ¹⁾. Буддизм видит главнейший грех в жажде жизни, в отстаивании личности; он объявляет мир нереальным, бессущностным, «пустым» и учит искать избавления («нирваны») от страдания, от все новых рождений в юдоль страдания, посредством правого знания, разоблачающего мировую иллюзию и систематического самопогружения. Идея реинкарнации (цепи перевоплощений) не есть специальное достояние буддизма; это одна из идей, общих почти всем индийским школам, но буддизмом она была своеобразно переработана. Идея *божества*, которую в Европе большей частью считают неотъ-

¹⁾ Наилучшее изложение буддийской философии см. в книге Розенберга—«Основные проблемы буддийской философии» или, в более популярном виде, в его же книге «Мирозерцание современного буддизма на дальнем востоке».

емлемым признаком религии, для буддизма не имеет никакого значения—она ему просто не нужна ¹⁾.

Буддизм существовал на почве Индии в течение более 1½ тысяч лет, с VI века до Р. Х. прибл. по XI-ый по Р. Х., когда он был побежден своими противниками—индуизмом и брахманством. Но исчезнув по имени, он фактически остался, ибо главнейшие идеи его философии переняты были еще в IX веке наиболее авторитетным с тех пор в Индии философом школы Веданты—*Шанкарой*. Несмотря на ряд более или менее существенных отличий в форме и в религиозных аксессуарах своего философского учения, Шанкара воспринял главнейшие идеи буддизма: пессимизм, иллюзионизм, аскетизм, имперсонализм, культ самопогружения. Его нельзя, правда, назвать атеистом в смысле буддизма, но, во всяком случае, личного божества он не признает. Не даром его главнейший противник, *Рамануджа*, называл его «скрытым буддистом». Авторитет Шанкары и распространенность его идей очень велики в Индии и поныне.

ПЕРСОНАЛИЗМ ²⁾

Но на ряду с буддийско-ведантистским *имперсонализмом*, как мы для краткости называем указанное направление, в Индии существовало всегда и обратное направление: *персонализм*, т. е. в основных чертах: оптимизм, *приятие жизни и личности, признание личного божества*. Главнейшие религии, принадлежащие, в большей или меньшей степени, к этому направлению, суть: 1) *шайвизм*, т. е. культ бога *Шивы*;

¹⁾ См. Щербатской: «Буддист-философ об единобожии».— Надо добавить, что в самом буддизме опять-таки много различных школ, не всегда покрываемых вышеизложенным.

²⁾ Ссылки в скобках на главы указывают на те главы «Воспоминаний», в которых говорится об упоминаемом нами предмете.

2) *шактизм*, т. е. культ всемирной богини, называемой то *Шакти*, то *Кали*, то *Дурга*, и т. д., 3) *вайшнавизм*, т. е. культ бога *Вишну*. Шайвизм и шактизм нас в этой связи не касаются; что же касается вайшнавизма, то о нем нам придется сказать несколько слов.

Вайшнавизм имеет длинную историю; важнейший из его древних памятников — санскритская дидактическая поэма *Багавадгита* (гл. 14), относимая к началу IV в. до Р. Х. Это — первое крупное и разработанное изложение индийского единобожия и идеи *любви к божеству*, *бакти*, как средства спасения. В ней содержится также полемика против «нигилизма» буддистов и т. п. школ. — Культ *любви* естественно впитывает и эротические элементы; почва для «религиозной эротики» создавалась в характерном для вайшнавизма учении о *земных воплощениях божества*, т. н. *аватарах*. Ради помощи людям и миру Вишну воплощается и живет на земле, как герой и избавитель. Обыкновенно перечисляются десять воплощений Вишну, из которых 10-е еще предстоит — в конце времен. Из бывших же наибольшее значение приобрели два: в виде *Рамы* и в виде *Кришны*.

Рама сначала герой как супруг и воин; его история послужила сюжетом древне-индийскому санскритскому эпосу *Рамаяна*, еще не имеющему религиозного характера; но вайшнавизмом он возведен в воплощение самого божества и стал предметом культа. Крупнейшее литературное выражение ортодоксальный культ Рамы получил в т. н. «*Рамаяне*» поэта *Тулсидаса* (XVI в.), написанной на языке *хинди*.

Жизнь *Кришны* описана в чрезвычайно популярной в Индии *Багават-Пуране*. В ней подробно описывается детство юного бога, его игры с товарищами-пастушками (упоминаемыми в 37-й главе «Воспоминаний»); эротический элемент появляется тогда, когда описываются игры Кришны с пастушками. Одна из них, по имени *Рада*, становится его возлюбленной. Любовь *Кришны* и *Рады* — одна из излюбленных тем

индийской поэзии. Еще знаменитый санскритский поэт *Джаядева* в своей *Гитаговинде* (XII в., гл. 13) воспел их любовь; а затем этот сюжет перешел в литературу на разговорных языках Индии. Особенно богата поэмами на эту тему *бенгальская литература*, при чем даже выработался определенный план для истории их любви; обычно она состоит из 3-х частей: встреча, разлука, воссоединение (гл. 34). *Вайшнавитская лирика*, о которой неоднократно упоминает *Тягор* (в особенности гл. 21), большею частью тесно связана с этой темой.

Не надо думать, однако, что культ Кришны неотделим от эротического элемента: он существовал и без него. Там же, где он присутствовал, в нем часто не оставалось ничего специально эротического; оставалась чистая идея *любви*, как к божеству, так и к людям; и эта идея лишь способствовала развитию и раскрытию издавна заложенного в вайшнавизм персонализма.

Вайшнавизм, в результате, в некоторых своих формах, приобрел характер сравнительно законченного единобожия, главное содержание которого — понимание всей жизни, как служения божеству; обычный храмовый культ, культ кумиров, и паломничество отступают для него на задний план или даже вовсе отвергаются; идея перерождений теряет власть над умами; выдвигаются этические лозунги; ведется борьба с кастовым строем. Таков, с разными видоизменениями, вайшнавизм у *Кабира* (XV в.), *Чайтаньи* (XVI в.), *Тукарама* (XVII в.) и др. ¹⁾ Под влиянием учения Кабира сложилась в *Пенджабе* особая монотеистическая религия *сикхов*, основанная *Нанаком* (XVI в.). Община сикхов в XVII веке приняла характер *военно-религиозной организации* ²⁾; центр

¹⁾ О вайшнавизме см. R. G. Bhandarkar, *Vaishnavism etc.* (1913), а также прекрасную работу бенгальского ученого и философа Б. Силя: *Vaishnavism and Christianity*, 1899.

²⁾ Пенджабцы издавна отличались воинственностью вообще.

их культа—знаменитый «Золотой Храм» на острове посреди озера в городе Амритсаре (гл. 14) в Пенджабе.

Всех только что упомянутых деятелей можно назвать реформаторами вайшнавизма в направлении все более зрелого единобожия. В XIX веке в Бенгалии, уже под воздействием европейского влияния, делается еще один крупный шаг. В 1828 году *Рам Мохан Рой* основал в Калькатте ¹⁾ т. н. *Брахма-Самадж*, т. е. об-во брахмаитов, которое заканчивает собою вышеуказанную эволюцию вайшнавизма. Учением этой общины отвергаются все остатки политеизма, все то, с чем не решался порвать прежний вайшнавизм; отвергаются идея *перевоплощений*, идея *аватары*; получается разрыв, собственно, даже с самим вайшнавизмом, хотя и совершенный на его почве. Из богатого прошлого индийской литературы выбираются различные тексты, отвечающие новому мировоззрению, и кладутся в основу реформированного культа, который отныне состоит только из молитв.

Одним из ближайших сотрудников Рам Мохан Роя был Двариканат Такур, дед Рабиндраната ²⁾. В 1842 году в Брахма-Самадж вступил его сын, *Дебендранат*, будущий отец Рабиндраната. Это — самая видная фигура в истории Брахма-Самаджа после его основателя. Он ввел в его жизнь строгую организацию, что вполне отвечало его характеру, как мы узнаем из 13-й главы. Он составил для Самаджа молитвенник под названием *Брахма Дарма* (гл. 13). В 1865 году видный член ассоциации, Кешаб Чандр Сен, склонявшийся к христианству, откололся и организовал новый Самадж; старый же, во главе с Дебендранатом, стал тогда называться *Ади* (первоначальный) *Брахма-Самадж* (гл. 15). Дебендранат скончался

¹⁾ «Калькутта» — неправильное наименование, возникшее по недоразумению из английского Calcutta. В настоящей книге мы вводим единственно-правильное начертание этого слова.

²⁾ *Тагор* — англизированная форма фамилии *Такур*.

в 1905 году. Рабиндранат всегда примыкал к организации, но никогда не стоял во главе ее.

Но создание общины не прошло гладко. Соппротивление шло со стороны индийской религиозной реакции, которая, видя в новшествах влияние Европы, искала и сама воспользоваться, в целях самозащиты, европейским оружием. Так она стала подводить под традиционную индийскую обрядность заимствованные из Европы естественно-научные идеи; одним из подобных защитников ортодоксии был пандит Шашадар, прославившийся такою лже-научною защитою различных суеверий (гл. 40). С другой стороны, индийская ортодоксия неожиданно получила поддержку извне: от теософского общества, основанного в 1875 году в Нью-Йорке Еленой Петровной Блавацкой и полковником Олькоттом; в 1878 году они перенесли центр своей деятельности в Индию. Теософическое учение объявляет все религии истинными; а в частности в Индии оно стало на позицию полного оправдания и защиты ортодоксии (в этом смысле Тагор упоминает о теософии в гл. 40).

ПЕРСОНАЛИЗМ ТАГОРА

Вкратце намеченная нами выше противоположность имперсонализма и персонализма в индийской мысли определяет собою содержание творчества Тагора. *Саньяси*, — аскет, воплощающий собою отказ от жизни и от личности, воплощающий уход от *конечного* к *бесконечному*, — главное действующее лицо в той драме Тагора, которая, по его словам, может быть рассматриваема как введение ко всей его последующей литературной деятельности; и *обращение* аскета к персонализму, к личной любви, «*радость обретения Бесконечного в Конечном*» есть, говорит он, тема, «к которой тяготели все мои писания» (гл. 37). Главная цель деятельности Тагора есть внутреннее преодоление индийского отрицания мира.

Эта идея провозглашалась уже неоднократно в различных формах индийского персонализма; но имперсонализм оставался в Индии реальностью и остается ею до сих пор. Таким образом, деятельность Тагора с этой стороны лишь повторение чего-то бывшего, очередное размежевание персонализма с имперсонализмом. Но та эпоха, в которую протекает его деятельность, наложила уже с самого начала свой отпечаток на его проповедь: по своим *мотивам* она есть, правда, нечто столь же древне-индийское, как и те идеи, против которых она борется; но без *оформляющего* воздействия европейской идеологии она не приобрела бы той исключительной зрелости и чистоты, которые ее отличают. Проповедь Тагора есть подведение итога всему вайшнавитскому движению, возведенному на высшую ступень и преображенному до классической ясности.

С другой стороны, эта эпоха придает совершенно особое, исключительное значение явлению Тагора. Индия переживает во всех областях своей жизни небывалый переворот под влиянием индустриализации и бурного проникновения европейских идей: национальных, классовых и др. Гений века властно требует от Индии: пробудиться и активно взяться за устройство своей судьбы. Тагор предлагает ей идеологию глубоко индийскую, с одной стороны, а с другой — глубоко современную, при помощи которой она смогла бы найти общий язык с другими мировыми культурами и ориентироваться во всех современных проблемах. И как бы подтверждая эту универсальную применимость своих основных идей, Тагор в многочисленных сборниках статей и речей коснулся едва ли не всех основных проблем современности; немногие из них, изданные в России, трактуют: *Садана*—о философских вопросах; *Национализм*—о политических (в частности о мировой войне); *Личное*—о вопросах эстетики и воспитания.

Мы не можем здесь более детально и по существу говорить об мировоззрении Тагора: это завело бы нас слишком

далеко. Только на одну его черту мы здесь укажем: его полную самостоятельность. Во взглядах Тагора нет ничего, принятого на веру, непосредственно воспринятого из какой-либо традиции; все его убеждения добыты им путем глубокого душевного опыта и размышления; в них нет ничего догматического, доктринального, надуманного; для него все проблемы подлежат все *новой проверке* жизнью и новому углублению.

Выше нами указана основная тема творчества Тагора: «радость обретения Бесконечного в Конечном». Иными словами, это тема бесконечности конечного, *бесконечного богатства и ценности личности*: не своекорыстного *индивида*, хищно преследующего свои цели, а именно *личности*, бескорыстно осуществляющей свое жизненное назначение. Все характеристики лиц, выведенных в произведениях Тагора, суть гимны человеческой личности. В «Воспоминаниях» Тагор раскрывает нам отрезок своей личной истории, как бы желая этим дать своим читателям возможность ощутить живую конкретность, стоящую за всей его проповедью; показать, что все это им не выдуманно, а прожито и пережито; что его персонажи—не бессущностный мираж, а столь же реальные, как он сам. Его книга — лучшая автобиография в индийской литературе и знаменует высшее *торжество персонализма*. Но его книга — и одна из лучших автобиографий всемирной литературы, она не уступит ни одной и имеет перед каждой свои особые преимущества. Ее главное достоинство, помимо обще-литературных качеств всякого тагоровского текста,—помимо ее захватывающей лиричности, счастливой образности, помимо особой нежной иронии, свойственной Тагору, помимо интереса рассыпанных в ней размышлений,—в той тонкости, с которой Тагору удалось охарактеризовать самую *стихию детства*. Блеск, новизна, свежесть всех вещей, отовсюду манящие загадки, трепет тайны и чуда, вся эта магическая атмосфера, пропитывающая мир ребенка, вряд ли нашла где-

нибудь более совершенное выражение, чем в этой книге. Ни в «Dichtung und Wahrheit» Гёте, ни в «Детстве и Отрочестве» Толстого мы ничего подобного не найдем; лишь одно произведение новейшей русской литературы в этом отношении может считаться близким «Воспоминаниям» Тагора: это — «Младенчество» Вячеслава Иванова.

Воспоминания Р. Тагора, снабженные надлежащими пояснениями, представляют наилучшее введение в конкретное понимание его творчества. Насколько иным было бы отношение к нему на Западе, насколько оно было бы вернее, если бы эта его книга первую появилась в Европе! Но будем надеяться, что она появляется еще не слишком поздно и что очарование его личности, ясность его видения вещей, красота индийского пейзажа будут оценены читателями и откроют путь к живому соприкосновению с гением Тагора, с гением современной Индии.

М. И. Тубянский

1. ВОСПОМИНАНИЯ

Я не знаю, кто водит кистью по холсту памяти; но кто бы он ни был — он создает картины. Этим я хочу сказать, что он занят не просто точной передачей всего происходящего. Он избирает или отвергает сообразно своему вкусу. Часто он уменьшает большие вещи, а малые — увеличивает. Ему ничего не стоит отодвинуть вглубь то, что было спереди, или поместить вперед то, что было позади. Короче говоря, он — живописец, а не историк.

Так, через внешнюю сферу жизни движется череда событий, внутри же — возникает ряд картин. Обе цепи соответствуют друг другу, но они не одно и то же.

Скрытая в нас живописная мастерская недоступна для свободного осмотра. Лишь иногда наш взор проникает в тот или иной ее угол, но большая ее часть остается во мраке. Какие побуждения движут вечно занятого мастера; когда он закончит свою работу; для какой галереи предназначены его картины — кто скажет?

Несколько лет тому назад, когда меня расспрашивали о событиях моей прошлой жизни, у меня был случай проникнуть в эту мастерскую. Я думал удо-

влетвориться выбором немногих материалов для Истории моей жизни. Когда я раскрыл дверь, я заметил, что *Воспоминания о жизни* не суть *История жизни*, что они—самостоятельное произведение незримого художника. Пестрые краски его картин не суть отражения лучей, падающих извне, но принадлежат ему самому и исходят, окрашенные страстью, из его сердца; поэтому повесть на его холстах становится непригодной для показаний на суде.

Но хотя попытка собрать в сокровищницах памяти точную историю обречена на неудачу,—есть очарование в ее картинах, очарование, завораживающее и меня.

Дорога, по которой мы странствуем, придорожный дом, в котором мы отдыхаем,—не картины, пока мы еще в пути; они слишком необходимы, слишком близки. Но когда мы, перед тем как войти в вечернюю обитель отдыха, оглянемся на города, поля, реки и холмы, пройденные нами в Утро Жизни,—тогда, в свете уходящего дня, они—настоящие картины. Так, когда пришел мой черед, я оглянулся—и был захвачен открывшимся мне зрелищем.

Было ли это очарование вызвано во мне исключительно естественным интересом к своему прошлому? Некоторое личное чувство у меня, конечно, было; но картины имели и свою собственную художественную ценность. В моих воспоминаниях нет событий, достойных увековечения. Но характер самых событий не есть единственно возможное оправдание для их сохранения. Всякое подлинное чувство, если только его удастся передать другим, всегда будет иметь для них значение. Если картины, созданные памятью, могут быть выражены в словах, они достойны занять место в литературе.

Я предлагаю мои воспоминания, как литературный материал. Было бы ошибкой принимать их за опыт автобиографии. Для этой цели они были бы и бесполезны, и неполны.

2. НАЧАЛО УЧЕНИЯ

Мы, трое мальчиков, воспитывались вместе. Оба мои товарища были на два года старше меня. Когда к ним приставили учителя, начал учиться и я, но из того, чему я учился, ничего не осталось в моей памяти.

Что постоянно вспоминается мне, так это «Дождь падает, лист дрожит»*. Я только что стал на якорь, пересекши бурные области рядов кага khala, и читаю: «Дождь падает, лист дрожит»; то для меня первая поэма Верховного Поэта. Когда радость тех дней вновь нахлынет на меня, даже еще и теперь, я постигаю, каждый раз, почему столь необходима рифма в поэзии. Благодаря ей слова приходят к концу—но не кончаются; голос замолк, но не его звук; и ухо, и душа продолжают игру сочетания рифм друг с другом. Так дождь продолжал капать и лист трепетать все вновь и вновь в моем сознании всю мою жизнь.

Другой эпизод из этого периода моего раннего детства сохранился у меня в памяти.

У нас был старый кассир, по имени Кайлаш, сделавшийся как бы членом нашей семьи. Он был большой остряк и постоянно шутил со всеми, со старыми и с молодыми, особенно охотно избирая мишенью своих острот недавно женившихся зятей, новичков в нашем доме. Имеются основания подозревать, что его юмор не оставил его и после смерти. Как-то мои старшие братья пытались установить

почтовые сношения с потусторонним миром при помощи *планшетки*. На одном из сеансов карандаш нацарапал имя Кайлаша. Ему задали вопрос, как он там живет. «Ничего не скажу» — был ответ. «С какой стати вам узнавать так дешево то, что я узнал лишь ценою смерти?»

Этот Кайлаш часто исполнял для моего удовольствия нескладную балладу, составленную им самим. Героем был я, и в балладе выражалось, между прочим, страстное ожидание прихода героини. Я слушал, увлекаясь все больше, по мере исполнения, изображением этой очаровательной невесты, озаряющей лоно будущего, над которым она царила. Описание драгоценностей, которыми она была усыпана с ног до головы, и неслыханная роскошь приготовлений к свадьбе могли бы вызвать головокружение и у более взрослого слушателя; но что восхищало мальчика и наполняло его воображение волшебными порхающими видениями — была быстрая смена звонких рифм и музыка размера.

Эти первые литературные радости все еще живы в моей памяти, равно как и эти строки из известного детского стихотворения:

Дождь весело барабанит; от ветра вздувается река *.

Следующее мое воспоминание относится к началу моей школьной жизни. В один прекрасный день мой старший брат и сын моей сестры, Сатья, который тоже был несколько старше меня, отправляются в школу, а я, как еще недоросший до нее, остаюсь дома. Я до тех пор еще ни разу не ездил в коляске и вообще не выходил из дому. И вот, когда Сатья вернулся домой, полный невыносимо увлекательных рассказов об его приключениях по дороге, я почув-

ствовал, что просто не могу более оставаться дома! Наш учитель, чтобы рассеять мои иллюзии, хлопнул меня по плечу и сказал: «Теперь ты плачешь и просишься в школу, но тебе придется еще больше плакать потом, когда ты будешь проситься домой». Я не помню ни его имени, ни лица, ни характера, но впечатление от его веского совета и еще более веской руки не изгладилось и сейчас. Никогда в своей жизни не слышал я более верного пророчества.

Мой плач привел меня преждевременно в Восточный семинарий. Я не имею на малейшего представления о том, чему я там научился, но один из применявшихся там способов наказания я помню хорошо. Мальчика, который не умел ответить свой урок, ставили на скамейку с протянутыми руками, а в его ладони клалось некоторое количество камешков. Дело психологов определить, насколько такой метод способен привести к лучшему усвоению урока. Так началась в чрезмерно раннем возрасте моя школьная жизнь.

Мое посвящение в литературу произошло в это же самое время, при помощи книг, бывших в ходу у наших слуг. Среди них выделялись бенгальский перевод Афоризмов *Чанакьи* и *Рамаяна* Криттиваса.

Я отчетливо припоминаю одно из чтений *Рамаяны*.

День был облачный. Я играл на длинной веранде, выходящей на дорогу. Внезапно Сатья, не помню, по какому поводу, вздумал напугать меня возгласом: «Полицейский, полицейский». Я имел лишь весьма смутное понятие об обязанностях полицейского. Но в одном я был уверен: если человек, обвиненный в преступлении, попадет в руки полицейского, он, подобно добыче крокодила, погиб безвозвратно. Не зная, как невинному мальчику избежать безжалост-

ного закона, я бросился бежать во внутренние покои, весь содрогаясь от страха перед преследующим меня полицейским. Я сообщил моей матери известие об ожидающей меня участи, но оно ее как будто не очень взволновало. Все же я счел более осторожным не показываться наружу и, сев на пороге ее двери, взялся за чтение истрепанной *Рамаяны*, с мраморного цвета обложкой. Книга принадлежала старой тетке моей матери. Передо мной была веранда, обегавшая все стороны открытого внутреннего четырехугольника, освещенного бледным полуденным светом пасмурного неба. Найдя меня плачущим над одной из печальных сцен поэмы, тетка подошла и отняла у меня книгу.

3. ВНУТРИ И СНАРУЖИ

Роскошь была вещью почти неизвестной в дни моего детства. Уровень жизни тогда был гораздо скромнее, чем теперь. Кроме того, детвора в нашем доме не могла пожаловаться на чрезмерное опекание со стороны взрослых. Присмотр за детьми иногда может быть хлопотлив для надзирающих, но для детей он всегда представляет бесспорный вред.

Нами обычно управляли слуги. Чтобы избавиться от хлопот, они почти совершенно лишили нас свободы движений. Но их строгость вполне окупалась тем, что нас не баловали, и наш дух был свободен как от постоянного нежничанья, так и от муштровки.

Наша еда отнюдь не состояла из лакомств. Список предметов одежды вызвал бы лишь презрение у мальчика наших дней. До десятого года мы ни разу не надевали ни чулок, ни ботинок. В холодную

погоду мы удовлетворялись второй туникой из бумажной ткани поверх обычной. Нам и в голову не приходило жаловаться на холод в таких случаях. И только когда старый Ниямат, портной, забывал вшить карман в одну из наших туник, мы высказывали недовольство: ведь еще не было на свете столь бедного мальчика, чтобы ему нечем было наполнить свои карманы; и, по милосердому установлению providения, нет большой разницы между богатыми и бедными мальчиками в отношении этого рода имущества. Обычно каждый из нас имел пару туфель, но они далеко не всегда были на ногах. Мы по большей части употребляли их вместо мячей, подбрасывая их над головой и ловя руками, так что без дела они не лежали, хотя оно меньше всего соответствовало их назначению.

Взрослые члены нашего дома были во всех отношениях далеки от нас, своей одеждой и пищей, образом жизни, беседой и развлечениями. Мы наблюдали иногда за их жизнью, но лишь издали. Взрослые стали слишком дешевы для современных детей; они слишком доступны им—равно как и другие предметы желаний. Нам же ничто не доставалось легко. Многие из обычных вещей были для нас редкостью; мы по большей части жили в надежде получить, когда вырастем, то, что хранит для нас отдаленное будущее. Вследствие этого мы уже до дна исчерпывали все возможное наслаждение тем немногим, что мы получали; от сердцевины до шелухи—ничто не отбрасывалось в сторону. Современный ребенок в состоятельной семье едва ли даже пробует половину тех сладостей, что ему преподносятся; большая часть его мира совершенно пропадает для него.

Дни свои мы проводили среди слуг в юго-восточ-

ном углу внешнего ряда комнат нашего дома. Одним из наших слуг был Шьям, темнокожий, большеголовый мальчик с курчавыми волосами, родом из округа Кульна. Он ставил меня на избранное им место, мелом обводил на полу круг и с торжественным видом, подняв палец, предупреждал меня об опасности, угрожающей мне, если я преступлю этот круг. Я никогда не отдавал себе ясного отчета, была ли то материальная или духовная опасность, но меня в таких случаях охватывал сильный страх. Я читал в *Рамаяне*, как Сита поплатилась за то, что преступила круг, обведенный вокруг нее Лакшманой, и потому не мог сомневаться в словах Шьяма.

Как раз под окном этой комнаты находился пруд с каменной лесенкой, спускавшейся к воде; на его западном берегу, параллельном стене сада, росло огромное баньяновое дерево; к югу виднелся ряд кокосовых пальм. Обведенный меловым кругом, я проводил целый день, не утомимо рассматривая сквозь венецианские ставни этот пейзаж, как книжку с картинками. С раннего утра наши соседи один за другим приходили и совершали омовение в пруду. Я знал, когда каждый из них должен прийти. Я знал особенности туалета каждого из них. Один затыкал уши пальцами и совершал положенное число погружений, после чего удалялся. Другой не решался окунуться целиком и удовлетворялся тем, что несколько раз выжимал над головой свое влажное полотенце. Третий быстрыми движениями рук сначала старательно отгонял от себя грязь на поверхности воды и затем внезапно погружался. Один из купальщиков прыгал в воду с верхней ступеньки лестницы без всяких приготовлений. Другой медленно сходил по ступенькам, бормоча тем временем утреннюю

молитву. Один постоянно торопился и, быстро окунувшись, поспешно уходил домой. Другой совсем не торопился, медленно совершал омовение, сопровождаемое тщательным растиранием тела, менял влажное купальное белье на свежее, при чем старательно собирал складки на своем одеянии, и кончал тем, что раз или два обходил внешний сад, собирал цветы и с ними медленно брел домой, излучая при ходьбе прохладную негу своего освеженного тела. Так продолжалось до после-полудня. Затем купальня пустела и замолкала. Оставались на пруду лишь утки, которые весь день плескались, ловя водяных улиток, или чистили свои перья.

Когда пруд пустел, я переносил все свое внимание на тени под баньяновым деревом. Некоторые из его воздушных корней, сползая вдоль ствола, образовали у его подошвы темную сеть спутанных колец. Казалось, что в это таинственное место законы вселенной не нашли доступа, как будто некое древнее, как мир, царство снов укрылось от божественного дозора и сохранилось до светлого сегодня. Кого я там видел и что те существа делали, невозможно выразить на понятном языке. Об этом баньяновом дереве я писал позже:

Со сплетенными корнями, свисающими с твоих
ветвей, о старое баньяновое дерево,
Ты стоишь день и ночь, как аскет, выполняющий свой
обет.
Вспоминаешь ли ты дитя, чье воображение играло
с твоими тенями?

Увы! баньянового дедева нет больше, как нет и водного зеркала, в котором отражался этот величественный владыка лесов! Многие из тех, кто купался там, последовали за тенью баньянового дедева

Выходить из дому нам было запрещено; мало того, мы даже не пользовались правом гражданства во всех его частях. Поневоле мы должны были наблюдать природу из-за ограды. Вне достижимости для меня пребывало безграничное нечто, называемое «Снаружи», посылавшее мне сквозь отверстия в ограде мгновенные вспышки лучей, звуков и запахов.

Ручная птица была в клетке; вольная птица—в лесу. Они встретились, когда настал срок, — таково было веление судьбы.

Вольная птица кричит: «Любовь моя, полетим в лес!»
Ручная птица шепчет: «Приди сюда, будем вдвоем жить в клетке».

Отвечает вольная птица: «За решеткой где мне раскинуть мои крылья?»

«Увы,—стонет ручная,—в небе я не найду своей жер-
дочки, чтоб присесть».

30

Я стоял и смотрел... Мой взгляд падает прежде всего на ряд кокосовых пальм, тянущийся вдоль удаленного края нашего внутреннего сада. Сквозь их ветви виднеется Singhi's Garden с его грудой хижин* и прудом; на берегу пруда ферма нашей молочницы—Тары. Далее, в перемежку с вершинами деревьев, тянутся различной формы и высоты террасы на калькаттских домах, отсвечивающие яркою белизной полуденного солнца, — вплоть до сероватой лазури восточного горизонта. И некоторые из этих отдаленных жилищ, с выступающими крытыми лестницами, ведущими на террасы*, словно, подняв палец и подмигивая, намекают мне на сокрытые в них тайны. Как нищий у ворот дворца, грезящий о фантастических богатствах, хранящихся в недоступных ему кладовых, я не могу выразить в словах то изобилие чудес и возможностей, которого те неведомые жилища казались мне исполненными. Из отдаленнейших глубин неба, залитого горячим солнечным сиянием над моей головой — вдруг тонкий пронзительный крик коршуна достигает моего уха; а из улицы, прилегающей к Singhi's Garden, долетает через молчаливые дома, погруженные в полуденную дрему, песенка продавца запястий: *чай чури чай...* и все мое существо, трепеща, готово вот-вот взлететь и покинуть мир повседневности.

31

проводил в путешествиях. Его комнаты в третьем этаже обычно оставались закрытыми. Я просовывал руку через венецианские ставни, приподнимал щеколду, открывал дверь и затем проводил полуденное время, лежа на его софе в южном углу комнаты. Во-первых, эта комната была постоянно закрыта; во-вторых, я тайком проникал в нее; все это манило меня, а широкое пустое пространство южной террасы, пылающее в лучах солнца, наводило на меня сладкую дремоту.

Еще нечто влекло меня в эту комнату. Как раз в то время в Калькатте начал действовать водопровод и, расточительный при своем торжественном появлении, он обслуживал даже индийские кварталы. В тот золотой век водоснабжения вода поднималась и до комнат моего отца в третьем этаже. Отвернув кран душа, я досыта наслаждался несвоевременным омовением — не столько из-за прохлады, которую оно давало, сколько из удовольствия делать то, что мне вздумается. Блаженное чувство свободы и опасение быть застигнутым вызывали во мне радостное содрогание, когда я стоял под этими струями муниципальной воды.

Быть может именно потому всякое соприкосновение с внешним миром доставляло мне громадное наслаждение, что оно было столь затруднительно. Когда материал имеется в изобилии, дух приучается к лени и перестает им управлять, забывая о том, что для полноты всякого наслаждения гораздо важнее внутреннее состояние, чем внешние условия. Это — главное поучение, которое должно быть извлечено из детского периода в жизни человека. В детстве человек обладает немногим, но для счастья ему не нужно большего. Мир игры отравлен для того несчастного

ребенка, который переобременен неограниченным количеством игрушек.

Наш внутренний сад вряд ли заслуживал названия сада. Вся его растительность состояла из лимонного дерева, пары сливовых деревьев различных пород и ряда кокосовых пальм. В центре его находилась круглая и мощенная площадка, в расщелинах которой поселились и водрузили свои победные стяги травы различных сортов. Лишь те породы цветов, которые отказались умереть от отсутствия ухода, продолжали выполнять свои обязанности без жалоб и без упреков садовнику. В северном углу находился навес для очистки риса, где обитательницы внутренних комнат собирались по мере надобности. Этот последний пережиток сельского быта с тех пор устарел окончательно, и постепенно захирел, пристыженно и незаметно.

И все же я думаю, что сад Адама в Эдеме вряд ли был лучше украшен, чем наш; ибо и он, и его рай были наги; им не нужно было вещественных предметов. Лишь после того, как человек вкусил плода с древа познания и научился сполна переваривать его, его потребность во внешней обстановке и украшении непрерывно усиливается. Наш внутренний сад был моим раем; мне не надо было большего. Я прекрасно помню, как ранними осенними утрами я бежал туда, только вскочив с постели. Навстречу мне несся аромат травы и листьев, покрытых росой, и утро, с его прохладным, свежим солнечным светом, выглядывало навстречу мне из-за края восточной стены сада, из-под трепещущих ветвей кокосовых пальм.

К северу от нашего дома расположен пустырь, который мы до сих пор называем golabari («житница»). Это название показывает, что в некоем отдаленном

прошлом там находилась житница, в которой хранился годичный урожай. В ту пору сходство между городом и деревней—как между братом и сестрой в детстве—было еще наглядно видно. Теперь семейное сходство вряд ли может уже быть замечено. Эта golabari была местом моих праздничных прогулок, если только мне удавалось туда выбраться. Вряд ли правильно будет сказать, что я ходил туда играть; меня влекло место, а не игры. Трудно сказать, чем оно меня привлекало; быть может тем, что оно было так дико и заброшено. Оно было в стороне от обитаемых домов, не было ничем украшено и совершенно пустынно, ибо на нем ничего не было посеяно. Именно потому пустырь этот не оказывал никакого сопротивления свободной игре моего воображения. Как только мне удавалось обмануть бдительность моих стражей и достичь golabari, я чувствовал, что для меня настал праздник.

Было еще другое место в нашем доме, которое мне до сих пор не удалось разыскать. Маленькая девочка, моя сверстница по играм, называла его «Царским дворцом» *. «Я только что была там», говорила она мне иногда. Но благоприятный миг, когда она могла бы взять меня с собой туда, все как-то не подворачивался. То было чудесное место, и игрушки там были столь же изумительны, как и игры. Мне все казалось, что оно где-то очень близко, быть может в первом или втором этаже; только что его никак не удавалось найти. Как часто спрашивал я мою товарку: «Скажи мне правду, он в самом деле внутри дома, или он снаружи?» Она же каждый раз отвечала: «Нет, нет, он в этом самом доме». Я сидел и диву давался: «Где же он может быть? Разве я не знаю всех комнат нашего дома?» Я не задумывался о том,

кто его царь; где его дворец—неизвестно и поныне; ясно было лишь одно: дворец царя в нашем доме.

Когда я оглядываюсь на мое детство, мне больше всего бросается в глаза та таинственность, которая постоянно царила над жизнью и миром. Что-то небывалое, невиданное даже во сне, таилось повсюду, и главным вопросом ежедневно было: когда же, когда мы повстречаемся с ним? Как будто природа держала что-то в своих зажатых ладонях и, улыбаясь, спрашивала нас: «Как ты думаешь, что у меня здесь?» И не было ничего, что бы нам казалось невозможным.

Я ясно вспоминаю, как я однажды посеял в углу южной веранды семя сметанного яблока и затем охранял и поливал росток ежедневно. Мысль о том, что из семени вырастет, быть может, дерево, повергала меня в состояние трепетного ожидания. Семена сметанного яблока теперь прорастают, как прежде, но уже без сопровождения того чувства тайны. В этом виновны, однако, не они, а дух наблюдателя.

Мы однажды украли несколько глыб чернозема с грядки, устроенной одним из наших старших кузенов, и соорудили свою собственную грядку. Растения, которые мы на ней посеяли, пользовались таким ревностным уходом, что только их растительная покорность позволяла им выносить его до самой их преждевременной гибели. Слова не могут передать той бесконечной радости и чудесной привлекательности, которую имела для нас эта маленькая горка. Мы не сомневались в том, что это наше создание будет столь же привлекательно и для взрослых. Но в тот день, когда мы собирались проверить наше ожидание, холмик в углу нашей комнаты, со всею своею растительностью, исчез. Поучение о том, что на полу классной комнаты не место для земляной

горки, было преподано нам с такою резкостью и столь внезапно, что мы испытали сильнейшее потрясение. Каменная тяжесть, от которой был освобожден пол, давила на наши души, когда мы думали о пропасти, отделяющей наши мечты от воли взрослых.

Какою интимностью дышала для нас жизнь природы в те дни! Земля, вода, листва и небо — все они говорили с нами и требовали ответного внимания. Как часто охватывало нас мучительное сожаление о том, что мы видим лишь верхний этаж земли и ничего не знаем о нижних! Мы все думали о том, как бы проникнуть под ее пыльноцветное покрывало. Если, думалось нам, мы будем вставлять в землю бамбуковые трости, одну за другою, мы, может быть, достигнем хоть какого-нибудь соприкосновения с ее глубиью.

Во время праздника в месяце Маг вокруг внешнего двора воздвигали ряд деревянных столбов, поддерживавших светильники. Уже первого числа месяца Маг начинали рыть ямы для этих столбов. Приготовления к празднествам всегда привлекают детвору. Но меня особенно интересовали эти ямы. Я год за годом наблюдал, как их вырывали, видел, как яма все более углублялась, пока землекоп не скрывался в ней с головой, но ничего неожиданного, достойного любопытства принца или рыцаря, не появлялось. И все же я каждый раз испытывал такое чувство, словно открывается крышка какого-то волшебного ящика. Я чувствовал, что стоит лишь немного глубже вырыть — и чудо совершится. Но год шел за годом, и решающее усилие так и не делалось. Никто не желал потянуть за шнурок, отдергивающий занавес. Ведь взрослые, думалось мне, могут сделать все, что они захотят; почему же они удовлетворяются столь

поверхностными изысканиями? Если бы мы, дети, могли распоряжаться, то чудеса, скрытые в глубине земли, перестали бы задыхаться под своей пыльной оболочкой.

Точно так же подстрекала наше воображение и мысль, что за каждой пядью небесного свода скрываются небесные тайны. Когда наш пандит, в пояснение к одной из глав в нашем бенгальском начальном учебнике природоведения, сказал нам, что голубой свод на самом деле не существует, мы были поражены как ударом молнии. «Ставьте лестницы на лестницы, — сказал он, — и поднимайтесь по ним вверх — вы никогда не ударитесь головою о свод». Он, должно быть, скупится на лестницы, подумал я, и спросил, возвышая голос: «А если мы наставим еще лестниц, и еще, и еще?» Когда же я понял, что увеличение числа лестниц ни к чему не приведет, я в глубоком изумлении стал обдумывать вопрос. Поистине, заключил я, подобная новость может быть известна только тем, кто является учителями всего мира!

4. СЕРВОКРАТИЯ

В истории Индии правление той династии, которая происходила из рабов, не было счастливым. Обозревая мысленно период господства слуг в моей личной истории, я не могу найти в нем ничего отрадного. В нем часто происходили смены правителей, но кодекс запретов и наказаний, которому мы были подчинены, оставался неизменным. Однако нам в то время не приходилось философствовать на эту тему; наши спины переносили, насколько могли, падавшие на них удары, и для нас положение: «большой бьет, а малый терпит», стало одним из законов природы.

Много времени прошло, пока я научился обратной истине: «большой страдает, а малый причиняет страдание».

Дичь не смотрит на добро и зло с точки зрения охотника. Вот почему бдительную птицу, криком предупреждающую соседей прежде, чем грянул выстрел, охотник называет злою. Когда нас били, то мы—выли; наши стражи считали это за признак дурных манер, мало того—за восстание против сервократии. Я не могу забыть о том, как они всовывали наши головы, чтобы подавить подобные возмущения, в употреблявшиеся тогда большие кувшины для воды. Бесспорно, наши крики должны были вызывать у них досаду; мало того, они могли даже иметь для них нежелательные последствия.

Я не раз задумывался впоследствии над тем, почему наши слуги так жестоко с нами обращались. Я не могу допустить, чтобы в нашем поведении или манерах было что-нибудь, делавшее невозможным мягкое отношение к нам. В действительности причина заключалась, повидимому, в том, что все бремя нашей жизни было возложено на слуг, а подобное бремя слишком тяжело даже для тех, кто ближе и роднее всех. Если детям позволяют быть детьми, бегать, играть и удовлетворять свое любопытство—дело обстоит чрезвычайно просто. Неразрешимые задачи появятся лишь в том случае, если вы будете пытаться сдерживать их, заставляя их сохранять спокойствие, или будете стеснять их игры. Тогда бремя жизни ребенка, столь легко несомое им самим, станет тяжестью для его стражей, как это было в басне с лошадью, которую несли вместо того, чтобы дать ей двигаться на собственных ногах: за деньги удалось достать носильщиков и для такой ноши; но это не

помешало им вымещать на каждом шагу свою злобу на несчастном животном.

О большинстве из этих тиранов нашего детства я не припоминаю ничего, кроме их тумачков и пощечин. Лишь одного из них сохранила мне память.

Его имя было Ишвар. Он раньше был деревенским учителем. Это был педантичный, чинный, серьезный человек, преисполненный чувства собственного достоинства. Земля казалась ему чересчур земной; всех ее вод недостаточно было для него, чтобы сохранять ее чистоту, и он вынужден был непрерывно воевать с ее хронической загрязненностью*. Он молниеносным движением погружал в пруд свое ведро, чтобы получить чистую воду из глубины. Это про него я рассказывал выше, что, купаясь в пруду, он все время отгонял от себя руками грязь на поверхности воды и затем внезапно окунался, как бы желая застать воду врасплох. Во время ходьбы он держал свою правую руку под углом к туловищу, ибо не мог (казалось нам) доверять чистоте даже своей собственной одежды. Все его манеры, казалось, говорили об его стремлении уйти от тех загрязнений, которые через никем не охраняемые входы проникают в землю, в воду, в воздух и в людскую жизнь. Его важность была неопишуема. Слегка склонив голову, он цедил низким голосом тщательно отделяемые изречения. Его чрезмерно литературный язык постоянно вызывал за его спиной смех со стороны наших взрослых, а некоторые из его высокопарных фраз навсегда вошли в наш семейный репертуар острот. Но я сомневаюсь, показалась ли бы его манера выражаться столь-же странной в наши дни; в самом деле, литературный и разговорный языки, раньше далекие,

как небо и земля, с тех пор все более приближаются друг к другу.

Этот бывший школьный учитель нашел способ заставить нас сидеть спокойно по вечерам. Каждый вечер он собирал нас вокруг надтреснутой масляной лампы и читал нам истории из *Рамаяны* и *Махабараты*. Некоторые из слуг также приходили и слушали чтение. Лампа отбрасывала громадные тени на балки потолка, маленькие домашние ящерицы ловили насекомых по стенам, летучие мыши в безумной дerviшской пляске кружились на веранде снаружи, а мы слушали с открытыми ртами, в молчаливом упоении.

Я до сих пор помню тот вечер, когда мы дошли до истории Куши и Лавы, и как эти двое смелых юношей грозили обратить в прах славу своих родителей и дядей; напряженная тишина в тускло освещенной комнате пылала страстными ожиданиями. Стало поздно, установленный срок бодрствования подходил к концу, но о *déroulement* не было еще и речи.

В этот критический момент спасение явилось неожиданно со стороны Кишори, давнишнего последователя моего отца; чтобы ускорить конец, он прочел нам последнюю часть эпизода звонкими стихами Дашурая. Впечатление, произведенное на нас медленным течением четырнадцатистопных строк Криттиваса, было мгновенно смыто бурным потоком рифм и аллитераций.

В некоторых случаях подобные чтения давали повод к рассуждениям в духе шастр, которые всегда завершались вескими приговорами Ишвара. Как представленный к детям слуга, он, по положению своему в нашем кругу, был ниже многих других, но, как это было и со старым дедушкой Бишмой в *Махабарате*,

его превосходство над более молодыми оставалось бесспорным.

Наш важный и почтенный служитель имел одну слабость, о которой я, ради исторической точности, чувствую себя обязанным сообщить. Он был опиоманом. Это вызывало у него повышенную потребность в питании. Поэтому, когда он по утрам приносил нам по стакану молока, сила притяжения в его душе оказывалась могущественнее, нежели сила отталкивания. Если мы выражали хотя бы в малейшей степени наше естественное отвращение к этому напитку, чувство ответственности за наше здоровье отнюдь не побуждало его предложить нам его вторично.

У Ишвара были также несколько узкие взгляды насчет нашей способности усвоения твердой пищи. Когда мы садились за ужин, перед нами ставили круглый толстый деревянный поднос с известным количеством *лучи*. На каждую тарелку он осторожно бросал по несколько штук, притом с достаточной высоты, чтобы избежать осквернения; подобно милостям, добытым у богов путем надоедливых просьб и потому неохотно уделяемым ими, падали они на тарелки: настолько выразительной была его неблагоприятность. Затем следовал вопрос, не дать ли нам еще. Я знал ответ, который будет ему наиболее по сердцу, и не мог заставить себя обездолить его вторичной просьбой.

Ишвару ежедневно вручалась известная сумма денег на покупку для нас полуденной легкой закуски. Он спрашивал нас каждое утро, что мы хотели бы получить. Мы знали, что лучше всего будет принят им выбор наиболее дешевой пищи, поэтому мы иногда заказывали легкое рисовое печенье, иногда даже совершенно несъедобные вещи, в роде жареных земля-

ных орехов. Было очевидно, что Ишвар не столь щепетилен в отношении нашей диеты, как в отношении шастрийских правил.

5. НОРМАЛЬНАЯ ШКОЛА

Во время пребывания в Восточном Семинарии я нашел способ избавиться от униженного положения быть только учеником. Я завел себе своих собственных учеников в одном из углов нашей веранды. То были деревянные столбики балюстрады, а я изображал собою учителя, сидя на стуле против них с тростью в руке. Я отыскал среди них хороших и плохих учеников, мало того, я ясно отличал спокойных от непослушных, умных от глупых. Плохие ученики столь жестоко страдали от моих побоев, что они должны были бы мечтать о том, чтобы прогнать этого духа, если бы они были живы. И чем более они покрывались шрамами от моих ударов, тем более они меня раздражали, так что я даже не знал под конец, как их наказывать. Ни один из них не дожил до наших дней, чтобы засвидетельствовать, сколь свирепо я мучил этот мой бедный бессловесный класс. Мои деревянные ученики были впоследствии заменены чугунными перилами, а из молодого поколения никто не возобновлял воспитания их в моем духе, да оно и не могло бы производить уже такого впечатления.

С тех пор я понял, насколько легче усвоить манеры, чем овладеть содержанием. Без всяких усилий я впитал в себя нетерпение, резкость, пристрастность и несправедливость моих учителей — все, за исключением содержания их уроков. Единственным моим утешением служит то, что я не имел возможности

вымещать их варварское отношение к ученикам на каких-либо живых существах. Но все же, различие между моими деревянными учениками и мальчиками, учившимися в Семинарии, не помешало тому, чтобы моя психология сделалась тождественной психологии его учителей. Повидимому, я не долго был в Семинарии, ибо еще в очень нежном возрасте я был отдан в Нормальную школу. Единственное, что мне запомнилось из ее особенностей, было то, что перед началом уроков мальчики должны были усаживаться в ряд на галерее и петь какие-то стихи, — это было, повидимому, попыткой ввести элемент веселья в ежедневный порядок занятий.

На беду, слова были английские, мелодия тоже чужестранная, так что мы не имели даже отдаленного представления о том, какого рода магические песнопения мы распеваем, а бессмысленная монотонность всей этой процедуры отнюдь не вызывала в нас веселья. Это однако ничуть не нарушало тихой самодовлетворенности школьного начальства по поводу своей организационной предусмотрительности; оно считало излишним интересоваться практическими последствиями своего великодушия; оно, вероятно, сочло бы за преступление со стороны мальчиков, что те не испытывают предложенного им наслаждения. Как-бы то ни было, оно довольствовалось песнями в том виде, как нашло их, со словами и мелодией, в той же английской книге, которой оно обязано было своим педагогическим новшеством.

То, во что превратился в наших устах английский язык, может быть только назидательным для филологов. Я вспоминаю лишь одну строку:

Каллоки пуллоки сингилль меллалинг меллалинг

После долгих размышлений, я могу предложить гипотезу относительно смысла этой строки, да и то не всей. Я до сих пор теряюсь в догадках, из чего произошло слово *каллоки*. Остальное же, вероятно, гласило так:

... *full of glee, singing merrily, merrily, merrily!*

Там, где туман не обволакивает более моих воспоминаний о Нормальной Школе и они проясняются, они ни в каком отношении не могут быть названы приятными. Если бы я мог дружить с другими мальчиками, тяготы школьной жизни не были бы для меня столь невыносимыми. Но это оказалось невозможным,—так испорчены были они по своим манерам и привычкам. В промежутках между уроками я поэтому поднимался во второй этаж и все время проводил у окна, выходящего на улицу. Я считал: год, два, три; сколько их еще придется мне провести здесь?

Из учителей я помню только одного: он так непристойно выражался, что я, из непреодолимого презрения к нему, постоянно отказывался отвечать на его вопросы. Так я сидел молча целый год в глубине класса, и в то время, как все остальные занимались уроками, я в полном одиночестве обдумывал разрешение многих сложных вопросов.

Над одним из них я размышлял глубоко и подолгу: как победить врагов без оружия. Я до сих пор ясно вспоминаю, как я сидел, погруженный в размышление, среди шумного класса. Если бы я мог надлежащим образом воспитать множество собак, тигров и других хищных животных и выставить их в несколько рядов на поле битвы—это, мне казалось, могло бы послужить вдохновляющей прелюдией к бою. Если мы затем пустим в ход нашу личную храбрость, то победа вовсе не так недостижима. А когда картина,

воплощающая такую стратегию, стала живее рисоваться в моем воображении, я перестал сомневаться в победе.

Пока я не встретился с настоящим трудом в своей жизни, мне ничего не стоило придумывать планы молниеносного осуществления труднейших заданий, но с тех пор, как я взялся за работу, я нахожу, что то, что трудно—трудно поистине, и таковым и остается. Это, правда, не очень утешительный вывод, но он ценен тем, что предохраняет от гораздо более горестных разочарований.

После того, как я провел год в этом классе, нам устроили экзамен по бенгальскому языку; экзаменатором был пандит Вачаспати. Из всех мальчиков я получил наибольшее количество похвальных отметок. Учитель пожаловался школьным властям, утверждая, что у экзаменатора было пристрастие в мою пользу. Меня тогда проэкзаменовали вторично; рядом с экзаменатором сидел старший инспектор училища. Но и на этот раз я также оказался на первом месте.

6. ВЕРСИФИКАЦИЯ

Мне в то время не могло быть более восьми лет. Джьоти, сын племянницы моего отца, был значительно старше меня. Он только что впервые завел знакомство с английской литературой и с большим смаком декламировал монолог Гамлета. Почему ему взбрело в голову учить меня версификации, я не могу сказать. Однажды в пополуденное время он пригласил меня в свою комнату и предложил мне попытаться сложить стих, после чего объяснил мне конструкцию четырнадцатистопного бенгальского размера, называемого *паяр*.

До того времени я видал стихи лишь в печатных книгах, без перечеркнутых ошибок, без малейших следов сомнений, труда или каких-либо человеческих слабостей. Я не мог даже помыслить о том, чтобы мне могло удаться, ценою каких угодно усилий, сочинение подобных вещей.

Однажды в нашем доме был пойман вор. Снедаемый любопытством, но в страхе и трепете, я отважился пойти взглянуть на него. Я обнаружил, однако, что это самый обыкновенный человек. И когда наш дворник несколько грубо обошелся с ним, я ощутил сильное сострадание. Нечто подобное я испытал и в отношении поэзии.

Когда я, расположив несколько слов по своему произволу, заметил, что они сложились в *паяр*, я почувствовал, что у меня не осталось больше никаких иллюзий относительно тайны версификации. И когда с бедною поэзией обращаются плохо, я еще и сегодня чувствую сострадание — как к тому вору. Много раз приходилось мне испытывать сострадание, и все же мне не удавалось удерживать тех, у кого чесались руки совершать на нее нападение. Вóры вряд ли перенесли столь много и от столь многих.

После того, как первоначальное благоговение было преодолено, я уже не знал удержу. Я раздобыл себе, по протекции, через одного из наших служащих, голубую тетрадку. Я собственноручно пролиновал ее карандашом, не очень аккуратно, правда, и принялся писать стихи широкими детскими каракулями.

Подобно молодому оленю, который стучается повсюду своими прорезающимися рогами, я надоедал всем своею распускающеюся поэзией, а еще в большей степени — мой старший брат, который, гордясь

моими достижениями, рыскал по всему дому в поисках за слушателями.

Я вспоминаю, как однажды мы вдвоем вышли из нашей конторы в первом этаже, после завоевательной экспедиции против наших служащих, и столкнулись с редактором *The National Paper*, Набагопалем Миттером, который как раз входил в дверь. Мой брат схватил его и выпалил: «Постой, Набагопаль Бабу, не хочешь ли послушать стихотворение, которое написал Раби?» За этими словами последовало чтение.

Мои сочинения тогда еще не были объемисты. Поэт мог носить с собою в кармане полное собрание своих стихов. Я был автором, наборщиком и издателем в одном лице; единственным моим компаньоном был мой брат, в качестве «рекламного агента». Я сочинил несколько стихотворений о Лотосе, которые я читал иногда Набагопалю Миттеру, на нижней площадке лестницы, голосом, столь же высоким, как мой энтузиазм.

«Молодец, — сказал он с улыбкой. — Но что такое *dvirepha*?» Где я выискал это слово, я не помню. Обыкновенное название пчелы не в меньшей степени подошло бы к размеру. Но из всех слов моего стихотворения я возлагал свои надежды именно на это. Оно несомненно произвело должное впечатление на наших служащих. Но как ни странно — Набагопаль Бабу не поддался его действию; напротив, оно вызвало у него улыбку. Я твердо решил, что он не может быть понимающим человеком. Я никогда более не читал ему стихов. С тех пор много годов прибавилось к моему возрасту, но я не научился и поныне понимать, чем отличается понимающий слушатель от непонимающего. Сколько ни улыбался Набагопаль Бабу, слово *dvirepha*, подобно

опьяневшей от меда пчеле, осталось неподвижно на своем месте.

7. РАЗНООБРАЗНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Один из учителей Нормальной школы давал нам частные уроки на дому. Он был худощав, с иссушенным лицом, с пронзительным голосом. Он походил на ожившую трость. Уроки, которые он давал, приходились на время от шести до половины десятого утра. Мы читали с ним все, начиная от легких хрестоматий и учебников и кончая эпосом *Мегнадбад*.

Мой третий брат изо всех сил стремился расширять наши знания. Поэтому мы дома должны были проходить гораздо больше того, что требовалось школьной программой. Мы вставали перед рассветом, препоясывали чресла и начинали дневной наш труд одной-двумя схватками со слепым борцом. Затем мы, не медля ни минуты, набрасывали туники на наши запыленные тела и приступали к занятиям литературой, математикой, географией и историей. Когда мы возвращались из школы, нас поджидали учителя рисования и гимнастики. Вечером приходил Агоре Бабу, чтобы обучать нас английскому языку. Лишь после девяти часов вечера мы освобождались.

В воскресенье утром учитель по имени Вишну давал нам уроки пения. Затем, почти каждое воскресенье, приходил Ситанат Датта и показывал нам физические опыты. Опыты эти меня очень интересовали. Я отчетливо вспоминаю то ощущение чудесного, которое охватывало меня, когда он нагревал воду с опилками в пробирке и показывал нам, как более легкая горячая вода поднимается, а холодная опускается, и как в конце концов вода закипает. Я был

также очень горд в тот день, когда узнал, что вода есть отделимая составная часть молока и что молоко уменьшается в объеме при кипячении потому, что вода выделяется из него в виде пара. Воскресенье не было для меня воскресеньем, когда не приходил Ситанат Бабу.

Был также определенный час, когда ученик Campbell Medical School рассказывал нам о человеческих костях, для каковой цели в классной комнате у нас повешен был скелет, с костями, соединенными проволокою. Наконец, находилось время для пандита Таттваратна, который заставлял нас выучивать наизусть правила санскритской грамматики. Я не могу решить, что было менее удобоваримо: списки названий костей, или грамматические *сутры*. Полагаю, впрочем, что скорее последние.

Английскому языку мы начали обучаться лишь после того, как сделали заметные успехи в учении на бенгальском языке. Агоре Бабу, наш учитель английского, был студентом Medical College и поэтому давал нам уроки по вечерам.

В книгах говорится, что открытие огня было одним из величайших открытий человека. Я не буду оспаривать этого. Но я невольно думаю, как счастливы маленькие птички тем, что их родители не могут зажигать огня по вечерам. Они обучаются языку по утрам, и вы должно быть заметили, с каким весельем они ему учатся. Правда, не следует забывать, что им не приходится учиться английскому языку.

Здоровье этого нашего учителя было настолько крепко, что даже пламенные и соединенные желания его трех учеников не в силах были ни разу вызвать его отсутствия. Лишь однажды ему пришлось несколько дней пролежать с проломленной головой, когда, по

случаю схватки между индийскими и евразийскими студентами Medical College, в него был брошен стул. То было печальное событие; но нам никак не удавалось ощутить его как таковое, и выздоровление Агоре Бабу все же показалось нам излишне поспешным.

Настает вечер. Дождь льет струями, напоминающими копы. Наша улочка * по колено в воде. Пруд выступил из берегов и залил сад, а густые вершины деревьев *баэль* возвышаются над водой. Все наше существо, в этот прелестный дождливый вечер, излучает восторг подобно тому, как цветок *кадамба* — свои душистые побеги. Срок прихода нашего учителя минул несколько минут тому назад. Но еще ничего неизвестно... Мы сидим на веранде, выходящей на улочку, и с трепетом всматриваемся в нее. Внезапно наши сердца с тяжким содроганием как будто падают в обморок. Знакомый черный зонтик обогнул угол, не смущаясь даже такой погодой. Но, может быть, это кто-нибудь другой? Увы, это невозможно. В широком мире, может быть, и найдется другой, столь же бесстрашный пешеход, но в этой нашей улочке — никогда.

Вспоминая в целом об этом времени, я не могу сказать, чтобы Агоре Бабу был черствым человеком. Он не был слишком строг к нам. Даже его выговоры никогда не переходили в брань. Но каковы бы ни были его личные достоинства — его временем был вечер, а его предметом — *английский язык*. Я не сомневаюсь в том, что даже ангел показался бы посланцем Ямы любому бенгальскому мальчику, если бы он явился к нему в конце его злосчастного школьного дня и зажег угрюмо-тусклую лампу, чтобы учить его английскому.

Я прекрасно помню, как однажды наш учитель попытался убедить нас в привлекательности английского языка. Для этой цели он прочел нам с большим чувством несколько строчек — прозу или стихи, мы не могли сказать — из какой-то английской книги. Результат был совершенно неожиданный. Мы расхохотались и долго не могли удержаться, так что Агоре Бабу оставалось только прекратить на этом урок. Он, должно быть, понял, что нелегкая им взята была на себя задача и что ему придется поработать еще не один год, прежде чем ему удастся добиться благоприятного для него оборота дела.

Иногда ему хотелось освежить затхлый воздух нашей классной комнаты свежим зефиром новых знаний. Однажды он вынул из кармана пакет, завернутый в бумагу, и сказал: «Я покажу вам сегодня одно из чудесных произведений творца». С этими словами он развернул бумагу, и, вынув модель человеческого органа речи, принялся объяснять нам тайны его механизма.

Я до сих пор вспоминаю то потрясение, которое вызвано было этим зрелищем. Я всегда думал, что весь человек говорит; мне никогда не приходило в голову, что деятельность речи может быть рассматриваема столь изолированно. Как бы ни был чудесен механизм части, он наверное менее чудесен, нежели механизм всего тела. Я вряд ли мог в ту пору изъяснить столь подробно свое чувство, но именно оно было причиной моего смущения. И быть может потому ученик не мог разделить энтузиазма учителя, что последний потерял из виду эту истину.

Другой раз он взял нас с собой в анатомический театр Medical College'a. Тело старой женщины было распростерто на столе. Это на меня не произвело

сильного впечатления. Но что меня совершенно вывело из равновесия—так это ампутированная нога, лежащая на полу. Рассматривать человека по кусочкам казалось мне столь абсурдным, что я в течение многих дней не мог отделаться от вида этой темной, бессмысленной ноги.

Закончив первую и вторую английские книги для чтения Пири Саркара, мы приступили к Course of Reading Мэк-Куллоха. К концу дня мы бывали утомлены, наш дух стремился к внутренним покоем, книга была черна и толста, с трудными словами, а содержание ее вряд ли было привлекательнее. В те дни материнская заботливость матери Сарасвати еще не обнаруживалась, и детские книги не снабжались иллюстрациями, как теперь. Мало того, перед вратами каждой главы стояли на страже ряды вокабул, разбитых на слоги, а грозные знаки ударений чернели как ружья, взятые на прицел, запирая вход детскому уму читателей. Я не раз тщетно атаковал эти стойкие ряды.

Наш учитель пытался иногда пристыдить нас рассказами об успехах своих других, более удачных учеников. Мы чувствовали должное смущение, а также некоторую неприязнь к тем успевающим ученикам, но все это не рассеивало тьмы, висевшей над этим томом в черном переплете.

Провидение, движимое состраданием к человечеству, как бы пропитало некими снотворными парами все скучные вещи. Едва начинался английский урок, как наши головы клонило ко сну. Мы промывали себе водою глаза или прогуливались раз-другой вокруг веранды, но это помогало не надолго. Если случайно мой старший брат проходил по веранде в это время и замечал, какая нас одолевает непреодолимая

сонливость, он нас на остаток вечера освобождал от занятий. Не проходило мгновения, как от нашей усталости не оставалось и следа.

8. ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С ВНЕШНИМ МИРОМ

Однажды, когда в Калькатте жестоко свирепствовала эпидемия малярии, часть нашей многолюдной семьи спасалась на прибрежной вилле Чату Бабу. Я оказался в том числе.

То было мое первое знакомство с внешним миром. Берег Ганга принял меня на свое лоно, как друг из прежней жизни. Перед жильем для слуг там росла рощица гуавовых деревьев. Я проводил целые дни, сидя на веранде в их тени и глядя на струящийся поток сквозь промежутки между их стволами. Каждое утро, просыпаясь, я встречал новый день, как новое письмо с золочеными краями, которое с неслыханными известиями ожидает меня в конверте. И чтобы не потерять ни мгновения, я, быстро покончив с туалетом, мчался к моему наблюдательному посту. Каждый день приносил с собою прилив и отлив на Ганге; различную повадку многочисленных судов; движение теней деревьев с запада на восток; и, над каймою тенистых деревьев на противоположном берегу, потоки золотой крови сквозь пронзенную грудь вечернего неба. Некоторые дни были облачными с раннего утра; деревья на том берегу—темны; черные тени носились по поверхности воды. Затем внезапно набегал голосистый ливень, заслонявший от взора горизонт; темная полоса по ту сторону в слезах скрывалась из виду; река вздымалась с подавленными вздохами; а влажный ветер вольно играл листвою деревьев над моей головой.

Я чувствовал, что из недр стен, балок и стропил нашего дома я вновь родился во внешний мир, и при этом новом знакомстве с вещами тусклая оболочка повседневности и мелочности как бы соскальзывала с них. Я твердо убежден, что сахарная патока, которая вместе с холодными *лучи* составляла мой завтрак, не могла иметь иного вкуса, нежели та амброзия, которою Индра упивается в своем раю; ибо бессмертие—не в нектаре, а в том, кто его вкушает; тем же, которые ищут его во-вне, его не найти.

Позади дома находился огороженный стенами садик с прудом и с лестницей, ведущей к воде с купальной платформой. С одной стороны платформы находилось громадное джамболоновое дерево; вокруг посажены были различные плодовые деревья, с густыми кущами, в тени которых укромно ютился пруд. Застенчивая красота этого уединенного внутреннего садика влекла меня неудержимо, по контрасту с широким раздольем речного берега. То была как бы невеста того дома, в одиночестве полуденного отдыха возлежащая на вышитом ею пестром покрывале и тихо шепчущая о тайнах своего сердца. Много полуденных часов провел я один под этим джамболоновым деревом, грезя о том страшном царстве *якшей*, что скрывается в глубинах пруда.

Мне очень хотелось посмотреть как-нибудь бенгальскую деревню. Гроздь ее хижин, ее крытые соломой избы, ее улицы и купальные места, ее игры и сборища, ее луга и рынки, ее жизнь в целом, как я созерцал ее в моем воображении,—все это влекло меня. Как раз такая деревня лежала за нашей садовой стеной, но нам не позволяли туда ходить. Мы были не дома, но еще не были свободны. Раньше мы

были в клетке, теперь—на жердочке, но все еще на цепи.

Однажды двое из наших взрослых вышли побродить по деревне. Я не в силах был более сдерживать свое любопытство, и, выскользнув незаметно из ворот, последовал за ними на некотором расстоянии. Идя по густо затененной дороге, огороженной по сторонам колючими изгородями из *сеора*, вдоль пруда, покрытого зелеными водяными растениями, я жадно впивал в себя картину за картиной. Я до сих пор помню одного мужчину, сидевшего на берегу пруда, нагишом, и занятого запоздалым туалетом; он чистил зубы изглоданным концом ветки. Внезапно мои родственники заметили меня. «Прочь, прочь, ступай сейчас же домой!»—закричали они. Они были шокированы. Я вышел из дому босиком, без шарфа или какой-либо верхней одежды, кроме моей туники; словом, я был одет по-домашнему. Как будто это была моя вина! Я никогда не носил чулок или других излишних частей костюма. Я не только вернулся обратно разочарованный в тот день, но даже не имел надежды искупить свое непослушание и получить еще когда-либо разрешение погулять вне дома. Но, хотя внешний мир был таким образом отрезан от меня сзади,—спереди Ганг открывал мне безбрежное раздолье, и дух мой мог по прихоти своей избирать любое из весело плывущих судов и уноситься с ним в страны, не названные ни в какой географии.

То было сорок лет назад. С тех пор я ни разу более не видал той усаженной чампаковыми деревьями виллы. Старый дом и старые деревья, должно быть, попрежнему стоят там, но я знаю, что они уже не те—ибо откуда мне почерпнуть теперь свежее любо-

пытство и воображение, которые облекали все видимое одеянием чудесного!

Мы вернулись в наш городской дом в Джорасанко. И мои дни вновь потекли покорно в бездонное чрево Нормальной Школы.

9. УПРАЖНЕНИЯ В ПОЭЗИИ

Упомянутая голубая тетрадь быстро была заполнена, подобно сотам какого-то насекомого, сетью капризно искривляющихся линий и тонких и толстых черточек букв. Усердным тисканием в руках мальчика-писателя ее листы были смяты; края стерлись и согнулись подобно когтям, как бы удерживая написанное внутри, пока, в конце концов, ее страницы не были увлечены, не знаю вдоль какой *Байтарани*, — милосердным забвением. Так они избегли муки прохождения через печатный станок и могут не опасаться рождения в эту юдоль печали.

Я не могу сказать, чтобы я был пассивным свидетелем распространения моей поэтической репутации. Хотя Саткари Бабу не был учителем в нашем классе, он мне очень благоволил. Он написал книгу по естественной истории, — в чем, я надеюсь, ни один язвительный юморист не будет искать причины его расположения ко мне. Однажды он послал за мною и спросил: «Ты, кажется, пишешь стихи, это верно?» Я не утаил от него правды. С тех пор он время от времени давал мне закончить начатое им четверостишие.

Гобинда Бабу, старший инспектор нашей школы, был темнокожий, низкорослый и толстый человек. Он сидел, в своем черном костюме, со своими делами и бумагами, в канцелярии во втором этаже. Мы все боялись его, ибо он был судьей-жезлоносцем. Однажды

я, спасаясь от гнавшихся за мною забияк, забежал в его комнату. Моими преследователями были пятеро старших мальчиков. Я ничем не мог бы оправдать своего вторжения в его комнату, если бы он не увидел слез на моем лице. Дело было выиграно, и с тех пор Гобинда Бабу имел для меня мягкое местечко в своем сердце.

Однажды он позвал меня к себе во время перемены. Я явился к нему в страхе и трепете, но не успел я войти в комнату, как услышал вопрос: «Итак, ты пишешь стихи?» Я, не колеблясь, ответил утвердительно. Он поручил мне написать стихотворение на заданную им некую высоко-моральную тему, которую я теперь уже не помню. Сколько снисхождения и приветливости было в таком поручении, может оценить только тот, кто был его учеником. Когда я закончил и передал ему стихи, — это было на следующий день, — он повел меня в последний класс училища, поставил меня перед мальчиками и приказал: «Читай». Я громко прочел свое произведение.

Единственное, что можно сказать хорошего об этом нравственном стихотворении, это то, что оно вскоре затерялось. Его моральное действие на слушателей было мало утешительным, и чувство, которое оно вызвало, менее всего было похоже на уважение к автору. Большинство слушателей было убеждено, что сочинил его не я. Один сказал даже, что он раздобудет ту книгу, из которой оно списано; никто однако не напоминал ему об этом его обещании, ибо не станут заниматься доказательствами те, кто хочет верить. В результате число искателей поэтической славы стало расти в угрожающей пропорции, и их методы не принадлежали к числу тех, что рекомендуются в целях нравственного усовершенствования.

В наше время мальчик, пишущий стихи, уже не редкость. Обаяние поэзии исчезло, Я вспоминаю, что в те дни женщина, пишущая стихи, считалась каким-то чудом. В наши-же дни, если слышишь, что такая-то молодая дама не пишет стихов, это вызывает сомнение. Поэзия теперь распускается задолго до того, как достигнут последний класс бенгальского училища, так что современный Гобинда Бабу даже не заметил бы тех поэтических подвигов, о которых я рассказываю.

10. ШРИКАНТА БАБУ

В то время судьба наградила меня таким слушателем, какого у меня никогда больше не будет. Он обладал способностью приходить в столь беспорядочный восторг, что уж никак не мог бы занимать должности критика в каком-нибудь ежемесячном журнале. Этот старик был подобен совершенно спелому плоду манго,—в его существе вовсе отсутствовали кислые или грубые волокна. Его нежное, гладко-выбритое лицо завершалось всеобъемлющей лысиной; во рту у него не оставалось даже следа зубов; а его большие улыбающиеся глаза постоянно сияли радостью. Когда он говорил своим мягким, глубоким голосом, его рот, и глаза, и руки тоже говорили. Он был старой персидской выучки и не знал ни слова по-английски. Его неизменными спутниками были кальяновая трубка слева и гитара на груди; а из его гортани непрерывно текла песня.

Шриканта Бабу не ожидал ничьего приглашения, ибо никто не в состоянии был противиться естественному обаянию этого радостного сердца. Однажды он взял нас с собою к какому-то известному англий-

скому фотографу, чтобы сняться вместе. Он так пленил владельца фотографии своим безыскусственным рассказом, на смешанном хиндустанско-бенгальском языке, о том, почему он, будучи бедным человеком, все же до крайности нуждается в этом снимке, что тот с улыбкой согласился понизить ему цену. И настолько наивно держал себя Шриканта Бабу, столь далек был от мысли, что в его поведении может быть что-нибудь неподобающее, что даже в этом гордом английском предприятии его просьба не была сочтена неуместной. Он иногда вместе со мною посещал одного европейского миссионера. Он пел, играл, возился с дочуркой миссионера, выражал безграничное изумление по поводу обуты маленькой ножки его жены, и так веселил всех собравшихся, как этого не мог бы сделать никто иной. Всякий другой при его поведении был бы скучен и навязчив, но его прозрачная простота нравилась всем и заражала всех его весельем.

Шриканта Бабу был недостижим для грубости или дерзости. У нас в то время служил один певец, пользовавшийся некоторой славой. Когда он бывал навеселе, он в мало деликатных выражениях издевался над пением бедного Шриканта Бабу. Тот бесстрашно переносил все, даже не пытаясь защищаться. Когда в конце концов неисправимая грубость певца привела к его увольнению, Шриканта Бабу ревностно заступался за него. «Виноват не он, виновато вино», утверждал он.

Он не мог видеть, ни даже слышать о чьем-либо страдании. Когда поэтому кто-либо из мальчиков хотел подразнить его, ему достаточно было почитать вслух при Шриканта Бабу отрывок из *Ситар Банабас* Бидьясагара; Шриканта Бабу страшно мучился,

протягивал руки, протестовал и умолял прекратить чтение.

Этот старик был одновременно другом моего отца, моих старших братьев и нашим, т. е. мальчиков. Он был сверстником всем и каждому из нас. Как любой камень годен приливу для пляски и игры, так малейшего побуждения было достаточно для того, чтобы он преисполнился радости. Однажды я сочинил гимн, в котором не забыл намекнуть на трагедии и тяготы жизни. Шриканта Бабу не сомневался в том, что мой отец придет в восторг от столь благочестивых стихов. С безграничным энтузиазмом вызвался он лично ознакомить его с ними. К счастью, меня в то время не было дома. Но, как мне после передавали, отца крайне рассмешило, что мирские горести так глубоко тронули его младшего сына, вплоть до стихотворных излияний. Я убежден, что Гобинда Бабу, наш старший инспектор, обнаружил бы больше почтения к моим опытам на столь серьезную тему.

В пении я был любимым учеником Шриканта Бабу. Он научил меня песне: «Ах, прощай, Баджа», таскал меня по комнатам всех обитателей нашего дома и заставлял меня петь им ее. Я пел, а он аккомпанировал мне на своей гитаре; когда я доходил до хора, он присоединялся ко мне и повторял припев все вновь и вновь, улыбаясь и кивая головой каждому из слушателей, как бы побуждая их к более восторженной оценке.

Он был преданным последователем моего отца. К одной из его мелодий был приспособлен гимн: «Ибо он—сердце наших сердец». Когда он пел его моему отцу, он настолько вдохновлялся, что вскакивал с места и, ударяя по струнам, пел: «Ибо он—

сердце наших сердец», а затем, указывая рукою на моего отца, изменял вдруг слова: «Ибо ты—сердце наших сердец».

Когда Шриканта Бабу в последний раз пришел к моему отцу, тот лежал в постели, больной, в прибрежной вилле в Чинсура. Шриканта Бабу, пораженный своим последним недугом, не мог вставать без посторонней помощи и, чтобы видеть, должен был рукою поддерживать веки. В таком состоянии он, сопровождаемый своей дочерью, проделал путь от Бирбума до Чинсура. С великим трудом удалось ему взять прах от ног моего отца и вернуться в тот дом в Чинсура, где он остановился и где несколько дней спустя скончался. Я слышал потом от его дочери, что он отошел к своей вечной молодости с песнью «Как сладко милосердие твое, господи!» на устах.

11. НАШ БЕНГАЛЬСКИЙ КУРС КОНЧАЕТСЯ

В училище мы в то время были в предпоследнем классе. Дома мы пошли в наших бенгальских занятиях гораздо дальше, чем наши одноклассники в школе. Мы прошли «Популярную Физику» Акшая Датта и закончили чтение эпоса *Мегнадбад*. Книгу по физике мы читали без всяких практических занятий, и наше знание предмета было поэтому лишь книжным. Мало того, время, затраченное на нее, было в сущности потеряно; для меня лично оно в меньшей степени было бы потеряно, если бы я просто ничего не делал. *Мегнадбад* тоже не доставил нам особого удовольствия. Самое изысканное лакомство вряд ли будет вами оценено, если оно будет вам брошено в голову. Пользоваться эпосом для изучения языка—все равно, что бриться мечом: унижительно для меча

и небезвредно для подбородка. Поэму надлежит изучать с эмоциональной стороны; если же навязывать ей служебную роль в качестве какого-то соединения грамматики со словарем, то подобное деяние вряд ли в состоянии умиловить божественную Сарасвати.

Совершенно неожиданно нашему пребыванию в Нормальной Школе пришел конец; это связано было с нижеследующими обстоятельствами. Один из наших школьных учителей пожелал заимствовать из нашей библиотеки биографию моего деда *, написанную Митрой. Мой племянник и одноклассник Сатья набрался мужества и вызвался лично передать просьбу моему отцу. Он решил, что для этого не подойдет обыкновенное бенгальское словоупотребление. Итак, он состряпал и выучил наизусть высокопарную фразу в старинном стиле и отдал ее с такой боязливой тщательностью, что мой отец, должно быть, решил, что наши занятия бенгальским зашли несколько дальше, чем следовало, и могут, чего доброго, привести к порче нашего языка. В результате, на следующее утро, когда, согласно нашему обыкновению, на южной веранде был поставлен стол, доска повешена на гвоздь, вбитый в стену, и все было приготовлено к приходу Нилькамала Бабу, отец позвал нас к себе в комнату наверх. «Вам незачем больше заниматься бенгальским», сказал он нам. Наши сердца запрыгали от радости.

Нилькамаль Бабу дожидался на нижней площадке лестницы; наши книги лежали раскрытыми на столе; он несомненно собирался вторично проходить с нами *Мегнадбад*. Но как на смертном одре для человека утрачивает реальность повседневный уклад жизни, так и для нас, во мгновение ока, все, начиная от

пандита вплоть до гвоздя, на котором висела классная доска, сделалось пустым, как мираж. Нас заботило только одно: как сообщить это известие Нилькамалю Бабу с соблюдением приличия? В конце концов нам удалось все же сделать это с известной сдержанностью, меж тем как геометрические фигуры на доске глазели на нас в немом изумлении, а из книги, побелев от огорчения, смотрели белые стихи *Мегнадбада*.

На прощание пандит нам сказал: «Повинуясь долгу, я иногда был, быть может, резок с вами,—об этом забудьте. То, чему вы от меня научились, вы оцените позже».

В этом он оказался прав. Мы быстро развились именно потому, что нас учили на нашем родном языке. Обучение должно насколько возможно подражать процессу принятия пищи. Если с первого же куска ваша пища вам вкусна, деятельность желудка пробуждается раньше, чем он нагружен, вследствие чего его пищеварительные соки получают полную свободу игры. Но совершенно иначе обстоит дело, если бенгальского мальчика обучают по-английски. Первый же кусок способен переломать ему оба ряда зубов—в роде настоящего землетрясения во рту. А к тому времени, когда он откроет, что то, что он жуует, не камень, а конфета, прошла уже половина положенного ему срока жизни. Пока ученик мучится и возится с правописанием и грамматикой, его душа голодает, а когда он, наконец, начинает чувствовать вкус к пище, его аппетит уже пропал. Если весь дух не вовлечен в работу с самого начала, полнота его сил останется неразвернутой до самого конца. В то время, как все кругом кричали о необходимости английского воспитания, наш третий брат был доста-

точно тверд, чтобы дать нам бенгальское. За это ему благодарная память навеки.

12. ПРОФЕССОР

Из Нормальной Школы мы были переведены в Бенгальскую Академию. То было европейское учреждение. Мы почувствовали, что у нас прибавилось достоинства, что мы доросли—по крайней мере до первого этажа свободы. И в самом деле, единственное, что мы приобрели в этой Академии, была свобода. Мы ничего не понимали из того, чему нас там обучали, да мы и не старались заниматься,—и никто, повидимому, о том не заботился. Мальчики здесь были надоедливые, но не противные—большое утешение для меня. Они писали слово «Осел» на своей руке и отпечатывали его на наших спинах с сердечным «халло!» Они ударяли нас сзади по ребрам и невинно глядели в другую сторону. Они хлопали нас по голове кожурой банана и быстро убегали. И все же мы чувствовали, что из топи выбрались на твердую почву: нам все это досаждало, но грязи вокруг нас больше не было.

Эта школа имела для меня одно большое преимущество. Никто не поддерживал в ней давно утраченной надежды на то, что обучающиеся в ней мальчики могут чему-нибудь научиться. Это было бедное учреждение с недостаточными доходами, так что мы имели в глазах школьной администрации особое значение и интерес: мы платили регулярно причитающиеся с нас взносы. Результатом было то, что даже латинская грамматика не служила для нас камнем преткновения, и даже при самых невозможных ошибках наши спины оставались неповрежденными. Про-

исходило это отнюдь не из сострадания к нам,—просто школьное начальство заранее предупредило учителей.

Но как бы мало мы ни подвигались в науках, все же это была школа. Угрюмые стены классов стояли на страже, как полисмэны. Дом походил скорее на продырявленную коробку, чем на человеческую обитель. Не было ни украшений, ни картин, ни красок, не было ни следа стремления привлечь сердце мальчика. Не было обращено ни малейшего внимания на то, как много значат подобные вещи для детей. Понятно, что мы чувствовали себя подавленными, когда входили через ворота в узкий четырехугольник; в результате ничегонеделание или игры стали нашим постоянным времяпрепровождением.

В этом мы нашли себе соратника. Мои старшие братья брали уроки персидского языка. Их учителя мы звали Мунши. Он был средних лет и весь кожа да кости, как будто темная оболочка натянута была на его скелет без всякого заполнения кровью и мускулами. Вероятно, он хорошо знал персидский язык, превосходно было также его знание английского, но его самолюбие обитало совершенно в другой сфере. Он был убежден, что владеет в одинаковом совершенстве игрою в палки и искусством пения. Он стоял на солнце посредине нашего двора и выполнял один за другим ряд фокусов с палкой, состязаясь со своею тенью. Мне незачем прибавлять, что его тень никогда не одерживала над ним победы, и когда он под конец издавал торжествующий возглас и с победной улыбкой оглушал ее ударом по голове, она покорно и недвижно лежала у его ног. Его пение, чересчур в нос, и фальшивое к тому же, звучало как ужасающая смесь стенаний и вздохов из

какого-то мира привидений. Наш учитель пения, Вишну, иногда дразнил его: «Послушай-ка, Мунши, ты ведь этак лишишь нас куска хлеба», на что тот отвечал лишь презрительной улыбкой.

Это показывает, что Мунши был доступен просьбам; и в самом деле, когда это нам бывало нужно, нам не стоило труда уговорить его написать школьной администрации записку, оправдывающую наше отсутствие. Начальство не обдумывало детально содержания этих записок; оно знало, что наши успехи в учении не изменятся от того, придем мы или нет.

Теперь у меня есть своя собственная школа, и мальчики в ней склонны ко всякого рода проделкам, ибо мальчикам свойственны шалости и плутни, а дело учителей—проявлять строгость. Когда нам досаждают их шалости или распушенность и вынуждают нас решиться на то, чтобы назначить надлежащее наказание, проступки моих школьных дней осаждают меня со всех сторон и улыбаются мне.

Я теперь ясно понял, что неправильно судить мальчиков по требованиям, предъявляемым ко взрослым, забывать о том, что ребенок подвижен и быстр, как бегущий ручей; и что всякие признаки несовершенства здесь не должны вызывать тревоги, ибо быстрота течения—лучшее лекарство. Опасность появляется лишь вместе с застоєм. Бояться ошибок должен не столько ученик, сколько учитель.

В Академии имелась особая столовая для мальчиков-бенгальцев, устроенная для выполнения кастовых требований. Там мы заводили знакомство друг с другом. Все остальные были старше нас. Об одном из них стоит рассказать подробнее.

Его специальность была—магия. Он даже напечатал небольшую книжку о магии, заглавная страница

которой снабжена была его именем с титулом профессора. Я до тех пор никогда не встречал в школе мальчика, чье имя появлялось бы в печати, так что мое уважение к нему, как к профессору магии, было велико. Мне и в голову не приходило, чтобы в прямых и ровных рядах печатных букв могло заключаться что-либо, вызывающее сомнение. Разве это мелочь—запечатлеть свои слова навеки? Не смущаясь, стоять нараспашку перед всем светом? Как можно было не верить при таких убедительных свидетельствах? Я вспоминаю о том, как я однажды раздобыл в какой-то типографии буквы, образующие мое имя, и как я не мог наглядеться на него, когда, помазав буквы чернилами, оттиснул его на бумаге.

Мы обычно брали с собою в экипаж этого нашего школьного товарища и друга-писателя. Это привело к сближению. Он был также большим мастером театральных дел. С его помощью мы соорудили сцену в нашей комнате для гимнастики и натянули раскрашенную бумагу на рамы из бамбуковых стержней. Но непререкаемый запрет с третьего этажа разрушил наше предприятие.

Тем не менее мы позже разыграли, без всякой сцены, некую «комедию ошибок». Ее автор уже был представлен читателям на этих страницах. То был не кто иной, как мой племянник Сатъя. Те, кто знает его теперешние спокойные и степенные манеры, были бы поражены, если бы увидели придуманные им тогда затеи.

Случай, о котором я собираюсь теперь рассказать, произошел немного спустя, когда мне было 12 или 13 лет. Наш маг рассказывал о столь странных свойствах многих вещей, что меня разбирало любопытство увидеть что-нибудь самому. Но материалы, о которых он говорил, были неизменно столь редки

и трудно-доступны, что вряд ли можно было надеяться раздобыть их без помощи Синдбада-морехода. Все же как-то раз профессор забылся и заговорил о вполне доступных предметах. Кто мог бы поверить, что если погрузить зерно в сок известной породы кактуса и затем высушить его, и проделать эту операцию 21 раз, то оно взойдет, расцветет и принесет плод—все в течение часа? Я решил испробовать этот рецепт, не осмеливаясь, впрочем, сомневаться в утверждениях профессора, имя которого появилось в печати.

Я попросил нашего садовника достать мне побольше молочновидного сока кактуса и в воскресенье после обеда удалился в укромный уголок на краю нашей верхней террасы, чтобы проделать опыт с зерном манго. Я глубоко погрузился в работу обматывания и высушивания,—но взрослый читатель не будет дожидаться моего сообщения о результатах. Я ничего не знал о том, что в то же самое время Сатья, в другом углу той же террасы, в течение часа вырастил созданное им самим таинственное растение. Позже оно принесло своеобразные плоды.

После моего опыта профессор как будто избегал меня, как я постепенно стал замечать. Он не сидел более рядом со мною в экипаже и как будто даже опасался моей близости.

Однажды он ни с того ни с сего предложил всем нам поочередно спрыгнуть на пол со скамейки в нашей классной комнате. Он, по его словам, желал изучить разницу наших «стилей». Подобная научная любознательность со стороны профессора магии не вызвала у нас недоумения. Мы сделали то, что он просил. Он покачал головой со сдержанным «гм!» Никакими уговорами нам не удалось вытянуть из него еще хоть слово.

Другой раз он мне как-то сказал, что некоторые из его друзей хотят с нами познакомиться, и вызвался проводить нас к себе. Наши домашние не возражали, и мы пошли. Гости профессора обнаружили большое любопытство к нам. Они настойчиво просили меня спеть. Я спел одну-две песни. Неудивительно, при моем возрасте, что голос мой не был похож на рев быка. «Чрезвычайно приятный голос», заявили все собравшиеся.

Когда было подано угощение, они уселись вокруг нас и наблюдали, как мы едим. Я был застенчив по природе и непривычен к незнакомой компании; кроме того, благодаря Ишвару, я и в самом деле привык мало есть. Все они были поражены моей скромностью в еде.

Пятый акт: я стал получать до непонятности теплые письма от нашего профессора, которые и разоблачили всю ситуацию. На этом пусть опустится занавес.

Я узнал от Сатии, что в то время, как я совершал магические действия над зерном манго, ему удалось убедить профессора, что меня переделали мальчиком, чтобы я мог получить лучшее образование, но что на самом деле это только видимость. Тем, кто любопытен до воображаемой науки магии, я должен пояснить, что по ее учению девочки прыгают левой ногой вперед; а я как раз это и сделал, прыгая со скамьи по просьбе профессора. Я и не подозревал тогда, насколько ложен был мой шаг!

13. МОЙ ОТЕЦ

Вскоре после моего рождения мой отец начал беспрерывно путешествовать по Индии. Вследствие этого

не будет преувеличением сказать, что в раннем детстве я почти совершенно не знал его. Он время от времени наезжал неожиданно домой, и с ним прибывали новые иностранные слуги, с которыми я очень охотно сближался. Однажды он привез с собой молодого пенджабца по имени Лену. Мы его встретили с сердечностью, которая была бы достойна самого Ранджит-Синга. Он не только был чужестранцем—он был сверх того еще и пенджабцем; неудивительно, что он покориł наши сердца.

Мы были о всей пенджабской нации такого же высокого мнения, как о Биме и Арджуне в *Махабхарате*. Они были воинами, и если они иногда проигрывали сражения, то это происходило явно не по их вине. Мы гордились, что у нас живет настоящий пенджабец, Лену.

У моей невестки была модель военного корабля в стеклянной коробке; когда машинку заводили, корабль качался на шелковых голубых волнах под звуки музыкального ящика. Я выпрашивал у нее и показывал это чудо глубоко изумленному Лену.

При нашей замкнутой жизни неудивительно, что все, напоминающее о дальних странах, таило в себе особое очарование для нас. Это была одна из причин, почему нам так понравился Лену. По той же причине меня всегда волновал приход еврея Габриеля, с его вышитым сюртуком, продававшего *аттар* и другие душистые масла; а огромные кабулийцы, с их пыльными, мешковатыми панталонами, с их ранцами и узелками, вызывали в детском уме очарование, смешанное со страхом.

Когда приезжал отец, мы удовлетворялись тем, что бродили вокруг да около в обществе его слуг. Непосредственно с ним мы не имели дела.

Однажды, когда мой отец был в Гималаях, все вдруг стали оживленно говорить о русском нашествии—этом давнишнем пугале британского правительства. Одна благонамеренная дама, знакомая моей матери, поведала ей об этом со всею обстоятельностью богатого воображения. Ведь нельзя было предугадать, через какой из горных проходов Тибета может внезапно, как зловещая комета, появиться враг.

Мать моя была не на шутку встревожена. Очевидно, другие члены семьи не разделяли ее опасений, и, отчаявшись в сочувствии со стороны взрослых, она искала поддержки у меня. «Не напишешь ли ты отцу о русских?» спросила она.

Это письмо, извещавшее о беспокойстве моей матери, было моим первым письмом к отцу. Я не знал, как надо начать и как кончить письмо, и как вообще пишутся письма. Я обратился к Махананде, мунши нашей канцелярии. Получилась несомненно вполне корректная форма обращения, но чувства, в нем выраженные, не могли не отдавать запахом плесени, неотделимым от литературы канцелярского происхождения.

На письмо свое я получил ответ. Отец просил меня не бояться; если русские явятся, он сам прогонит их назад. Это самоуверенное заявление вряд ли успокоило мою мать, но я совершенно забыл о моих опасениях. После этого у меня ежедневно являлось желание писать отцу; и я постоянно надоедал Махананде. Не в силах сопротивляться моей назойливости, он самолично изготовлял мне письма для переписывания. Но я ничего не знал о том, что за пересылку требуется платить. Я не сомневался в том, что письма, сданные на руки Махананде, достигнут назначения и что заботиться о них более нечего. Вряд ли нужно упоми-

нать о том, что письма мои преспокойно оставались в канцелярии.

Когда отец мой после долгого отсутствия приезжал домой, весь дом казался преисполненным его присутствия. Он визвестные часы имел свидания со взрослыми членами семьи, которые для этого случая надевали свои *чога* и приходили к нему с серьезным и сдержанным видом, выплюнув кусочки *пана*, который они жевали. Все были как бы настороже. Моя мать сама наблюдала за приготовлением кушаний, чтобы быть уверенной в том, что все делается исправно. Старый палиценосец, Кину, в своей белой ливрее и в хохлатом тюрбане, стоял у дверей отцовской комнаты и предупреждал нас, чтобы мы не шумели перед его дверью во время его полуденного отдыха. Мы должны были ступать тихо, говорить шопотом и не осмеливались хотя бы только украдкой заглянуть внутрь.

Однажды отец приехал домой, чтобы посвятить нас троих в брахманство при посредстве священного шнура. С помощью пандита Ведантавагиша он восстановил для этой цели древние ведические обряды. В течение нескольких дней нас учили распевать, с правильной акцентуацией, избранные тексты *Упанишад*, изданные моим отцом под названием *Брахма Дарма*; при этом мы сидели вместе с Бечарам Бабу в молитвенном зале. Наконец мы трое молодых брахманов, с обритыми головами и золотыми кольцами в ушах, должны были провести в уединении три дня в одном из помещений третьего этажа.

Для нас все это было очень забавно. Ушные кольца были очень удобны, чтобы тянуть друг друга за уши. В одной из комнат мы нашли маленький барабан; мы выходили с ним на веранду и, заметив кого-нибудь из слуг, проходящего по двору, привлекали его вни-

мание звуками барабана. Взглянув наверх и увидев нас, он поспешно удалялся, отвернув голову в другую сторону*. Иными словами, мы не можем похвалиться тем, чтобы провели эти три дня в аскетическом созерцании.

Я убежден, что в старину мальчики-отшельники часто были в роде нас. И если памятники древности рассказывают о том, что мальчики в роде десяти или двенадцатилетнего Шарадваты или Шарнгаравы проводили целые дни в жертвоприношениях и пении мантр, то мы отнюдь не обязаны безусловно доверять подобным свидетельствам; ибо Книга о Душе Ребенка древнее и надежнее их.

После посвящения в брахманство я с большой охотой повторял *Гаятри*. Я размышлял о ней с глубоким сосредоточением. Вряд ли я мог в то время вполне понять смысл такого рода текста. Я прекрасно помню, как я пытался расширить рамки своего сознания при помощи начального обращения к «Земле, тверди и небу». Трудно объяснить в точности, что я в эти минуты думал или чувствовал, но ясно одно: отчетливое понимание смысла слов отнюдь не есть важнейшее условие постижения.

Обучение должно ставить себе целью стучаться в двери духа, а не объяснять смыслы. Если спросить мальчика, что проснулось в нем при подобном стуке, он вряд ли сможет ответить что-либо вразумительное. Ибо то, что происходит внутри, гораздо глубже того, что может быть выражено в словах. Те, кто считает университетские экзамены достаточной проверкой плодов образования, не принимают этого во внимание.

Я могу вспомнить о многих вещах, которых я не понимал, но которые производили на меня глубокое впечатление.

Однажды, когда мы находились на крыше нашей прибрежной виллы, мой старший брат, увидев, что внезапно скопились тучи, произнес вслух несколько строчек из *Облака-вестника* Калидасы. Я не понимал, да и не нуждался в понимании санскрита: с меня довольно было его восторженной декламации и звучного размера.

Другой раз мне в руки попало обильно иллюстрированное издание *Old Curiosity Shop*. Английского языка я тогда еще почти совершенно не знал. Я «прочел» эту книгу целиком, хотя по крайней мере девять десятых ее слов были мне неизвестны. Но из тех неопределенных представлений, которые я извлекал из остальных, я соткал пеструю нить, на которую мог нанизывать иллюстрации. Любой университетский экзаменатор поставил бы мне большой круглый нуль за такое знание, но все же подобного рода «ознакомление» с книгой вовсе не было для меня столь бесплодным, как это могло бы показаться.

Однажды мы вместе с отцом катались по Гангу в нашей лодке. Среди взятых им с собою книг была *Гитаговинда** Джаядевы в старом издании Форта Уилльяма, напечатанном бенгальским шрифтом. Стихи в нем были напечатаны не раздельно по строкам, а сплошь — как проза. Я тогда еще совершенно не знал санскрита, но, благодаря моему знанию бенгальского языка, многие слова были мне хорошо известны. После этого первого знакомства я потом неоднократно перечитывал эту *Гитаговинду*. Я прекрасно вспоминаю следующую строчку:

Ночь была проведена в одинокой лесной хижине.

Она дышала для меня смутно угадываемой красотой. Мне вполне достаточно было уже одного этого сан-

скритского сложного слова: *nibhrta - nikunja - grham*, означающего «одинокую лесную хижину».

Мне пришлось самому открыть для себя сложный размер Джаядевы, что было сильно затруднено неотделенностью строк друг от друга. Это открытие доставило мне громадное наслаждение. Конечно, я не вполне понимал содержание поэмы. Вряд ли можно даже сказать, что я постиг его хотя бы частично. Но звучание слов и биение размера наполняли мой дух образами чудесной красоты, что побудило меня переписать себе всю книгу для собственного пользования.

То же самое произошло, несколькими годами позже с одним стихом из *Рождения бога войны* Калидасы. Стих этот произвел на меня очень сильное впечатление, хотя единственные слова, смысл которых я уловил, были следующие: «ветер, несущий брызги падающих вод священной Мандакини и сотрясающий листья деодаров». После этого отрывка мне страстно хотелось изведать остальное. Когда, позже, некий пандит сообщил мне, что в следующих двух строчках тот же, ветер «расщепляет павлиньи перья на голове ревностного охотника за оленями», я был разочарован скудостью этого образа. Большее удовлетворение я испытывал тогда, когда дополнял стих исключительно силами своего воображения.

Всякий, кто вспомнит о своем раннем детстве, согласится со мною в том, что наиболее ценные духовные приобретения нисколько не были тогда соразмерны полноте понимания. Наши *катака* хорошо знают это. В их рассказах постоянно встречается множество звучных санскритских слов и туманных выражений, которые действуют как намеки и отнюдь не рассчитаны на полное понимание со стороны простодушных слушателей.

Значения подобного рода намеков не следует недооценивать, даже если измерять результаты воспитания мерою фактических приобретений и утрат, т. е. если требовать подсчета итогов и точно устанавливать, какая часть преподанного урока может быть воспроизведена. Но дети, и те, кто не перевоспитан, обитают в том исконном раю, где человек в праве знать, даже и не понимая всецело. И только когда этот рай потерян, настает злосчастный день, когда все необходимо понимать. Путь, ведущий к знанию не через безрадостный процесс понимания—вот царский путь. Если он закрыт, то—хотя бы мировое торжище и продолжалось попрежнему—открытое море и вершины гор становятся недоступными.

Итак, как я уже упоминал, я в том возрасте не мог вполне понять смысла *Гаятри*, но и без полного понимания она имела для меня смысл. Я вспоминаю, как однажды я сидел на цементном полу в углу нашей классной комнаты и размышлял об этом тексте; глаза мои наполнились слезами. Откуда эти слезы, я не знал; и если бы кто-нибудь внезапно и напрямик попросил у меня объяснения, я, вероятно, сказал бы что-нибудь, не имеющее никакого отношения к *Гаятри*: ведь то, что происходит во внутренних тайниках сознания, не всегда известно обитателю его поверхности.

14. Я ОТПРАВЛЯЮСЬ В ПУТЕШЕСТВИЕ С ОТЦОМ

После церемонии со священным шнуром моя бритая голова доставляла мне много беспокойств. Как бы евразийские юноши ни сочувствовали лозунгам, относящимся к *корове*,—но почтение к *брахманам* у них явно отсутствует*. Понятно поэтому что наши бритые головы служили мишенью для всякого рода колкостей,

не говоря уже о других метательных снарядах. Однажды, когда я с грустью размышлял об этих перспективах, за мною прислал отец. Хотел ли бы я поехать с ним в Гималаи, услышал я вопрос. Прочь из Бенгальской Академии и на Гималаи? Хочу ли я? Мне казалось, что от моих радостных криков могло бы треснуть небо—вот как я хотел.

В день отъезда отец, согласно своему обыкновению, собрал всю семью для молитвы в молитвенном зале. Взяв прах от ног старших членов семьи*, я вошел в экипаж вместе с отцом. В первый раз, в моей жизни я был одет в специально сшитый для меня настоящий костюм. Отец сам выбрал фасон и цвет материи. Вышитая золотом бархатная шапочка увенчивала мой наряд. Опасаясь ее несоответствия моей бритой голове, я держал шапочку в руке. Но когда мы уселись в экипаже, отец настоял на том, чтобы я ее надел, и мне пришлось это сделать. Каждый раз, как он отворачивался, я ее снимал, но как только я ловил его взгляд, она неизменно занимала прежнее место.

Мой отец был очень точен во всех распоряжениях и указаниях. Он не любил оставлять что-либо неясным или неопределенным и не терпел неряшливости и незаконченности. У него был вполне установленный кодекс взаимоотношений с людьми. Этим он отличался от большинства своих соотечественников. Для всех нас ничего не значили некоторая неточность или послабление в том или ином пункте; поэтому в наших отношениях с ним нам приходилось соблюдать особую точность. Он не столько возражал против самых уклонений от его требований, сколько против проявляющейся в них внутренней слабости.

Мой отец обыкновенно заранее точно намечал все подробности того, что должно было быть сделано.

Когда происходило какое-либо торжественное собрание, на котором он не мог присутствовать, он заранее придумывал и назначал место для каждой вещи, обязанности каждого члена семьи, стул для каждого гостя; ничто не ускользало от его предусмотрительности. А после собрания он расспрашивал отдельно каждого из его участников и таким образом составлял себе целостное представление обо всем его ходе. Так и во время нашего путешествия он, правда, несколько не желал препятствовать мне развлекаться, как мне угодно, но в других отношениях он окружил меня плотной стеной точных правил поведения, не оставлявших никаких лазеек для уклонений.

Первая наша остановка была в Больпуре, где мы пробыли несколько дней. Незадолго до нас там побывал Сатья со своими родителями. В девятнадцатом веке ни один уважающий себя мальчик не поверил бы рассказу об его путешествии, который он поведал нам по возвращении. Но мы были иного склада и не имели еще опыта в проведении границ между возможным и невозможным. Наши *Махабарата* и *Рамаяна* не содержали никаких указаний на этот счет. Не было у нас и иллюстрированных детских книг, обучающих детей, как им следует держаться. Непреклонные законы, управляющие миром, познавались нами лишь по мере того, как мы сталкивались с ними.

Сатья сообщил нам, что посадка в железнодорожный вагон без надлежащего опыта есть дело чрезвычайно опасное; стоит лишь поскользнуться—и все пропало. Далее, сидя на скамейке в вагоне, необходимо держаться за нее изо всех сил, ибо толчок при остановке настолько ужасен, что иначе пассажира может отбросить на большое расстояние. Когда мы прибыли на вокзал, я весь трясся от страха. Но мы с изумитель-

ной легкостью заняли места в нашем купе, и я решил, что худшее, очевидно, впереди. Когда же, через некоторое время, поезд остановился до нелепости плавно и никаких признаков опасности не было и в помине, я был горько разочарован.

Поезд мчался вперед; широкие поля, окаймленные зелено-голубыми деревьями, и деревни, гнездящиеся в их тени—текли мимо вереницей картин, таявших одна за другою, как поток миражей. Был уже вечер, когда мы достигли Больпура. Войдя в паланкин, я закрыл глаза. Мне хотелось, чтобы чудесная картина развернулась передо мною в утреннем свете. Я опасался, что свежесть впечатления будет нарушена смутными образами, схваченными во мраке.

Когда я утром проснулся и вышел из дому, сердце мое трепетно билось от нетерпения. Мой предшественник сказал мне, что в Больпуре имеется одна особенность, которой нет нигде более на всем свете, а именно: от главного здания к дому служителей ведет дорога, которая, не имея над собою никакого прикрытия, не позволяет ни солнечным лучам, ни струям дождя касаться идущих по ней. Я вышел, чтобы поискать эту волшебную дорогу, но читатель, вероятно, не удивится, что я не нашел ее и по сей день.

Выросши в городе, я никогда не видел рисового поля; но мое воображение рисовало мне чарующий образ пастушка, о котором я читал. Я слышал от Сатхи, что больпурский дом окружен полями зреющего риса и что он там каждый день вел с пастушками игры, увенчивавшиеся собиранием, варкой и вкушением риса. Я с нетерпением озирался вокруг. Но где, о где-же рисовые поля среди всех этих бесплодных кустарников? Пастушки тут где-нибудь, быть

может, и имеются, но как отличить их от других мальчиков—вот вопрос.

Впрочем, я достаточно быстро позабыл о том, чего не мог видеть, — того, что я видел, было вполне достаточно. Здесь уже не было господства слуг, и единственным кругом, обнимавшим меня, был лазурный горизонт, который богиня-покровительница тех мест обвела вокруг них. В его пределах я мог двигаться свободно, как и куда мне вздумается.

Хотя я был еще ребенком в то время, отец не стеснял ни в чем моих странствий. В углублениях песчаной почвы дождевая вода вырыла глубокие борозды и намыла миниатюрные горные цепи, усеянные песком и булыжниками различной формы, между которыми текли тонкие струйки, — в целом, пейзаж страны лилипутов. Я набрал там в край моей туники множество странных камешков и принес коллекцию моему отцу. Он никогда не обнаруживал пренебрежения к моим стараниям; напротив, он и сам пришел в восторг.

«Замечательно!» воскликнул он. «Где ты набрал все это?»

«Там есть еще гораздо больше, тысячи и тысячи!» выпалил я. «Я мог бы приносить каждый день столько».

«Это было бы мило!» ответил он. «Почему бы не украсить ими мой холмик?»

В саду нашего дома начали рыть пруд, но оказалось, что подпочвенная вода слишком глубоко расположена; работа не была доведена до конца и брошена; от нее осталась вырытая земля, сложенная холмиком. На вершине этого холмика отец обычно садился для совершения утренней молитвы; и в то время, как он сидел, солнце поднималось над краем волнистой равнины, простиравшейся перед ним до восточного

горизонта. Этот-то холмик он и просил меня выложить камешками.

При отъезде из Больпура я был очень опечален тем, что не мог взять с собою собранных мною камней. Мне и до сих пор трудно понять, почему я не имею безусловного права поддерживать тесную связь с вещами уже на одном том основании, что я их собрал. Если бы судьба даровала мне исполнение моего желания, о котором я так горячо молился тогда, и устроила так, чтобы я мог всегда иметь при себе эту коллекцию камней, я вряд ли имел бы смелость смеяться над ним сегодня.

В одном из оврагов я нашел углубление, полное ключевой воды, вытекавшей из него ручейком, в котором играли крошечные рыбки, пробиваясь против течения.

«Я нашел такой миленький родник», сказал я отцу. «Нельзя ли нам брать оттуда воду для купания и для питья?»

«Очень охотно» — согласился он, разделяя мое восхищение, и отдал распоряжение о том, чтобы нам носили воду из этого источника.

Я неутомимо бродил среди этих миниатюрных холмов и долин, в надежде наткнуться на что-нибудь дотоле невиданное. Я был Ливингстоном этой неисследованной страны, которая имела такой вид, как будто ее наблюдали через обратный конец телескопа. В ней решительно все — ее карликовые финиковые пальмы, жалкие дикие сливы, малорослые джамболаны — гармонировало с миниатюрными горными хребтами, маленьким ручейком и крошечными рыбками, которых я открыл.

Желая, должно быть, научить меня аккуратности, отец стал давать мне мелкие деньги и велел вести им

счет. Кроме того, он вменил мне в обязанность заводить вместо него его драгоценные золотые часы. Стремясь развить во мне чувство ответственности, он забывал о возможном ущербе. Когда мы выходили вместе на утреннюю прогулку, он поручал мне давать милостыню каждому нищему, который попадался нам навстречу. Но я никогда не умел представить ему точного отчета в конце прогулки. Однажды мой баланс оказался больше, чем то, что требовалось по расчету.

«Мне остается только назначить тебя моим кассиром», заметил отец. «Деньги каким-то образом умножаются в твоих руках!»

Его часы я заводил с таким неутомимым усердием, что их очень скоро пришлось отправить калькаттскому часовщику.

Я вспоминаю о том времени, когда впоследствии мне было поручено заведывать нашим имуществом и мне приходилось представлять отчет отцу, страдавшему зрением, 2-го или 3-го числа каждого месяца. Я должен был сначала прочитывать итоги под каждой рубрикой, и если у него возникали сомнения по какому-либо пункту, он спрашивал меня о подробностях. Если же я пытался утаить или незаметно пробежать через какую-нибудь статью счета, неодобрения которой я опасался, мое намерение им всегда обнаруживалось. Так эти несколько первых дней каждого месяца были тревожными днями для меня.

Как я уже говорил, у моего отца было обыкновение отчетливо удерживать все перед своим духовным взором, будь то цифры, или счета, или распорядок церемоний, или прирост и изменения в имуществе. Он никогда не видел нового храма, построенного в Больпуре, но прекрасно знал все подробности его

устройства благодаря своим расспросам всех бывавших у него после посещения Больпура. Он обладал превосходною памятью и, однажды узнав о какой-либо вещи, никогда о ней больше не забывал.

Мой отец отчеркнул свои любимые стихи в своем экземпляре *Багавадгиты*. Он попросил меня переписать их для него, совместно с переводом. Дома на меня мало обращали внимания, но здесь, когда на меня были возложены столь важные обязанности, я чувствовал себя польщенным.

В то время у меня уже не было моей голубой тетрадки, и я приобрел себе переплетенный «Леттсовский Дневник». Я стал заботиться о том, чтобы внешние аксессуары отвечали моим занятиям поэзией. Мне важно было не только писать стихи, но и воображать себя поэтом. Поэтому, когда я писал стихотворения в Больпуре, я любил делать это, развалившись под молодой кокосовой пальмой. Мне казалось, что этого требуют истинно-поэтические манеры. Так, лежа на жестком голом песке в горящих лучах солнца, я сочинил воинственную балладу на тему о «Поражении Притвираджа». Невзирая на изобилие воинственности, поэме этой не удалось избежать ранней смерти. Тот переплетенный том «Леттсовского Дневника» последовал за своею старшей сестрой, голубой тетрадью, не оставив своего адреса.

Мы покинули Больпур и, после кратких остановок в Сахегбандже, Динапуре, Аллахабаде и Каунпуре, прибыли в Амритсар.

Мне запомнился случай, происшедший по дороге. Поезд остановился на какой-то крупной станции. Пришел контролер и проколол наши билеты. Он пытливо посмотрел на меня, как будто у него явилось какое-то сомнение, которого он не хотел высказать. Он

ушел и вернулся с товарищем. Оба они потолкались у двери нашего купэ и тоже ушли. Наконец, пришел сам начальник станции. Он взглянул на мой полубилет и спросил:

«Мальчику не больше двенадцати лет?»

«Нет»,—ответил мой отец.

Мне тогда было всего лишь одиннадцать, но я казался старше своих лет.

«Вам придется взять целый билет для него», сказал начальник станции.

Глаза у отца сверкнули, но, не говоря ни слова, он вынул ассигнацию из своей шкатулки и передал ее начальнику станции. Когда отцу принесли сдачи, он с презрением швырнул ее назад, а начальник станции стоял, пристыженный этим ответом на свое мелочное подозрение.

Золотой храм в Амритсаре вспоминается мне, как сон. Много раз по утрам я сопровождал отца к этому, расположенному посреди озера, *Гурударбару* сикхов. В нем беспрерывно звучит священное пение. Мой отец, сидя среди толпы молящихся, иногда присоединял свой голос к хвалебным гимнам, а они, видя, что чужестранец участвует в их молебне, приходили в восторг, и мы возвращались домой, нагруженные освященными приношениями сахарных кристаллов и других сладостей.

Однажды отец пригласил одного из хористов к нам и попросил его спеть нам некоторые из их священных песен. Тот ушел,—вероятно более чем удовлетворенный полученным им вознаграждением. В результате нам пришлось принимать энергичные меры самозащиты,—столь настойчивая армия певцов осадила нас. Когда они убедились в неприступности нашего дома, они начали подкарауливать нас на улицах. Когда мы

утром выходили на прогулку, время от времени перед нами всплывала *тамбура*, перекинутая через чье-то плечо: для нас это было—что для дичи ствол охотничьего ружья. Мы были настолько осторожны, что даже издали звон *тамбуры* отгонял нас; так мы ни разу и не попались.

Когда наступал вечер, отец садился на веранде, выходившей в сад, и приглашал меня петь ему. Взошла луна; ее лучи, сквозь чащу деревьев, падают на пол веранды; я пою в ладе *Бехага*:

О ты, спутник в мрачайшую пору жизни...

Отец, склонив голову и сложив руки, внимательно слушает. Я отчетливо вспоминаю эту вечернюю сцену и посейчас.

Я рассказывал о том, как развеселил моего отца мой детский опыт стихов на религиозную тему, сообщенный ему Шриканта Бабу. Я вспоминаю, что позже я все-таки взял свое. К одному из праздников месяца *Маг* ряд гимнов был составлен мной. Один из них начинался так:

Глаз не видит тебя, ибо ты—зрачок в каждом глазу...

В то время отец лежал больной в Чинсура. Он послал за мною и моим братом Джьоти. Он попросил брата аккомпанировать мне на гармоние, а меня—пропеть ему все гимны, один за другим.

Некоторые из них мне пришлось повторить. Когда я кончил, он сказал:

«Если бы царь нашей страны знал наш язык и мог оценивать его поэзию, он несомненно вознаградил бы певца. Но раз это не так, я чувствую себя обязанным сделать это». С этими словами он протянул мне чек.

Отец взял с собою несколько томов из серии Peter Parley, чтобы учить меня. Он выбрал для начала биографию Франклина. Он думал, что она будет читаться, как роман, и будет интересна и поучительна за раз. Но как только мы приступили к чтению, он заметил свою ошибку. Франклин был слишком прозаическим человеком. Узость его расчитанной морали вызвала отвращение у моего отца. Иногда его настолько возмущала банальная рассудительность Франклина, что он не мог удержаться от резких замечаний по его адресу.

До тех пор я почти не занимался санскритом, если не считать немногих выученных наизусть грамматических правил. Отец сразу засел со мною за санскритскую хрестоматию второй ступени, заставляя меня выучивать склонения по мере того, как мы двигались по тексту. Мое хорошее знание бенгальского сослужило мне тогда службу*. Отец с самого же начала побуждал меня писать по-санскритски. Из слов, заученных мною во время чтения, я составлял грандиозные сложные слова, обильно снабженные звонкими *м* и *н*, превращая язык богов и какую-то дьявольскую мешанину. Но отец никогда не упрекал меня за мою самонадеянность.

Кроме того, мы читали с ним *Популярную Астрономию* Проктора, которую отец объяснял мне на легком языке и которую я затем излагал по-бенгальски.

Среди книг, которые отец взял с собою для собственного употребления, мое внимание привлекло десяти или двенадцатитомное издание *Истории Рима* Гиббона. Эти томы казались мне чем-то до-нельзя скучным. «Я ведь мальчик», думал я, «я беспомощен, и читаю многие из книг только потому, что меня

заставляют. Но зачем взрослому человеку, который в праве читать то, что ему хочется, затруднять себя подобным чтением?»

15. В ГИМАЛАЯХ

Около месяца мы пробыли в Амритсаре, а к середине апреля выехали по направлению к Dalhousie Hills. Последние несколько дней в Амритсаре тянулись нескончаемо: так могущественно влекли меня к себе Гималаи.

Когда мы поднимались наверх в *джампане*, уступчатые горные склоны все горели красотой весеннего расцвета. Каждое утро, после завтрака, состоявшего из молока и хлеба, мы двигались в путь, и перед заходом солнца останавливались на ночь на ближайшей станции. Мои глаза целый день не знали отдыха,—так сильно боялся я что-либо пропустить. Каждый раз, когда дорога вступала в ущелье и громадные лесные деревья сдвигались ближе, а из-под их тени выбегал водопад,—точно маленькая дочь пустыни, играющая у ног седовласых мудрецов, погруженных в созерцание,—и с журчанием прыгал по черным обомшенным скалам, носильщики ставили *джампан* на землю и отдыхали. Почему, о почему мы покидаем такие места, кричало мое жаждущее сердце, почему мы не можем остаться здесь навсегда?

В этом—великое преимущество первого узрения: дух тогда еще не знает, что встретит еще много столь же заманчивого. Когда же это становится известным этому расчетливому существу, оно всячески сокращает трату внимания. Лишь когда дух считает что-либо редким, он перестает скупиться на оценки. Так иногда на улицах Калькатты я воображаю, что

я иностранец, и только тогда я открываю, как многое достойно быть отмеченным и теряется, пока на него не обращена вся полнота заслуженного им внимания. То, что гонит людей путешествовать, это—голод по настоящему видению.

Отец передал в мое ведение свою денежную шкапку. У него не было оснований думать, что я наиболее подходящий хранитель тех довольно значительных сумм, которые он держал в ней для нужд путешествия. Он несомненно чувствовал бы большую уверенность в ее судьбе, если бы она была в руках его приближенного, Кишори. Я могу только предположить, что он стремился развить во мне чувство ответственности. Однажды, когда мы ночевали в станционном здании, я забыл передать ее ему и оставил ее на столе. За это я получил выговор.

Каждый раз, когда мы прибывали к вечеру на очередную станцию, мы усаживались на стульях снаружи, подле здания. Наступал мрак, звезды ярко пылали сквозь ясный горный воздух; отец показывал мне созвездия и вел разговоры на астрономические темы.

Дом, который мы заняли в Бакрота, стоял на самой высокой из окрестных вершин. Приближался май, но здесь было еще очень холодно,—настолько, что затененный склон холма был еще застлан белым покровом.

Отец спокойно позволял мне бродить, сколько мне вздумается. Несколько ниже нашего дома находилась гора, густо заросшая деодарами. В их чащу я часто отваживался проникать один, со своей палкой, снабженной железным наконечником. Эти царственные лесные деревья, с их огромными тенями, высящиеся, как толпа великанов,—какие неизмеримые жизни

прожили они в веках! А этот мальчик, живущий со вчерашнего дня, бродит беспрепятственно между их стволами. Мне казалось, что, вступая в их тень, я ощущаю тяжелый холод, идущий от какого-то допотопного ящера, сетка же света и теней на усеянной листьями земле—его чешуя.

Моя комната была в конце дома. Лежа на постели, я мог видеть, сквозь незанавешенные окна, удаленные горные вершины, тускло белеющие в звездном свете. Иногда—в котором часу, я не мог сообразить—я, полупроснувшись, видел отца, который, накинув красную шаль, с зажженной лампой в руке тихо проходил мимо к застекленной веранде, где он предавался молитвам. Я снова засыпал, но, вторично проснувшись, находил его у своей постели; он будил меня легким ударом, когда было еще совсем темно. То был час, назначенный мне для заучивания санскритских склонений. Что за мучительно холодное пробуждение из-под ласкающего тепла моих одеял!

Между тем солнце всходило; отец, после своих молитв, кончал со мною наш молочный завтрак и затем, вновь вступая в общение с богом, пел, стоя рядом со мною, тексты из *Упанишад*.

Затем мы выходили на прогулку. Но как мне было поспеть за ним? Этого не могли бы и многие из взрослых. Через некоторое время я отставал и кратчайшим путем взбирался назад по горному склону.

Когда отец возвращался, мы час занимались английским. После десяти часов следовало купание в ледяной воде; бесполезно было бы просить слуг разбавить ее хотя бы кружкой горячей воды без позволения отца. Чтобы приободрить меня, отец рассказывал мне о невыносимо морозных купаниях, которые он совершал в своей молодости.

Другим наказанием было питье молока. Отец очень любил молоко и мог пить его много. Но у меня, к прискорбию моему, отсутствовал аппетит к молоку — потому ли, что я не унаследовал отцовской склонности, или же под влиянием неблагоприятной обстановки, о которой я говорил. К несчастью, мы пили молоко вместе. Мне пришлось отдать себя на милость слуг, и их человеколюбию (или непослушанию) я обязан тем, что мой стакан с тех пор более чем на половину бывал наполнен пеной.

После полуденной закуски опять начинались уроки. Но это было уже не под силу моему организму. Мой прерванный утренний сон требовал реванша, и непреодолимая сонливость клонила меня. Отцу становилось жалко, и он отпускал меня, но не ранее, чем исчезала и моя сонливость. А затем — прочь, в горы!

С палкой в руке я часто уходил далеко в горы, но отец никогда не противился этим странствиям. До самого конца своей жизни он ничем не ограничивал нашей независимости. Не раз я говорил или делал вещи, неприемлемые как для его вкуса, так и для его воззрений; он одним словом мог бы остановить меня; но он предпочитал дожидаться, чтобы мы одумались сами. Его не удовлетворяло пассивное соблюдение нами пристойного и должного; он желал, чтобы мы полюбили истину всем сердцем; он знал, что простое повиновение без любви — бесплодно. Он знал также, что истина, даже будучи утрачена, может быть найдена вновь, но что насильственное или слепое приятие ее извне в действительности закрывает к ней путь.

С ранней молодости я мечтал о том, чтобы проехать по дороге Больших Стволов*, вплоть до самого Пешавара, в повозке, запряженной молодыми быками. Никто не поддерживал этого плана, и несомненно

можно было бы многое возразить против него с практической стороны. Но когда я обсуждал его с отцом, он нашел, что это блестящая идея: путешествие по железной дороге вообще не заслуживает названия путешествия. После этого замечания он принялся рассказывать мне о своих отважных странствиях пешком и верхом. О неудобствах или опасностях моего плана он не обмолвился ни словом.

В другой раз, когда я только что был назначен секретарем *Ади Брахма Самаджа*, я навестил моего отца в его квартире на Парк Стрит и сообщил ему, что не одобряю правила, согласно которому только брахманы в праве совершать богослужение. Он не колеблясь разрешил мне изменить это положение, если это мне удастся. Но оказалось, что, имея право, я не имею силы сделать то, что хочу. Я мог раскрыть несовершенство, но не мог создать совершенства. Были ли подходящие люди для этого? Была ли у меня сила привлечь таких людей? Способен ли я был построить что-либо вместо того, что я собирался разрушить? Прежде чем явятся надлежащие люди, какая-нибудь форма лучше, чем никакая, — таково было, по видимому, отношение отца к существующему порядку вещей. Но он и не пытался разубеждать меня указаниями на трудности дела.

Как он позволял мне блуждать по горам сколько и куда мне вздумается, так и в поисках истины он предоставлял мне находить мой собственный путь. Его не утрашали возможные мои ошибки, его не тревожили угрожающие мне беды. Он водружал перед нами образец для подражания, а не бич повиновения.

Я часто говорил с отцом о том, что делается дома. Когда я получал письмо от кого-либо из домашних, я спешил показать ему его. Я убежден, что он от

меня узнавал таким образом о многих подробностях, о которых ему помимо меня не от кого было узнать. Он же давал мне читать письма, получаемые им от моих старших братьев. Таким путем он учил меня, как следует писать ему, ибо он отнюдь не пренебрегал внешними формами вежливости.

Я вспоминаю, как в одном из писем, полученных от моего второго брата, тот жаловался, в чрезмерно санскритизованном стиле, на то, что смертельно устает от работы, прикованный как бы цепями к своему делу, требуемому долгом. Отец попросил меня разъяснить ему содержание письма. Я объяснил его по своему, но отец полагал, что правильнее было бы иное объяснение. Мое самомнение побудило меня принять вызов, и я пустился с ним в длинные споры. Другой на его месте остановил бы меня сердитым замечанием, но отец терпеливо выслушал меня и взял на себя труд оправдать передо мною свой взгляд.

Отец иногда рассказывал мне забавные истории. Он знал множество анекдотов об аристократической молодежи дней своей молодости. Среди нее было несколько неженков, для которых вышитый край одежды, даже из даккского муслина, был слишком груб, так что одно время считалось чрезвычайно модным носить муслин с отрезанной каймою.

Меня также очень рассмешила в первый раз услышанная мною от отца история о молочнике, которого подозревали в том, что он разбавляет молоко, и чем большему количеству слуг его заказчик поручал смотреть за ним, тем все более голубым оказывалось молоко, пока, наконец, заказчик не спросил его сам, в чем дело; тогда тот признался, что если бы ему пришлось удовлетворять еще большее количество надсмотрщиков, молоко годилось бы в пищу разве только рыбам.

После того, как я таким образом провел с отцом несколько месяцев, он отослал меня домой в сопровождении своего приближенного Кишори.

16. МОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ

Когда я расстался с отцом, цепи сурового режима, сковывавшие меня до того, наконец отпали. Вернувшись, я сделался полноправным членом семьи. Самая моя близость ранее делала меня незаметным; пробыв некоторое время в отсутствии, я вновь приобрел интерес для наших домашних.

Некоторое предвкушение лестной оценки я испытал еще на обратном пути. Я путешествовал один, со слугою, был полон цветущего здоровья, бодр духом, бросался всем в глаза своею шапкою, отделанною золотом; неудивительно, что англичане, с которыми я сталкивался в поезде, обращали на меня внимание.

Мое возвращение было не только возвращением домой после путешествия, но также возвращением из изгнания в комнаты слуг к своему месту во внутренних покоях. Когда домочадцы собирались в комнате моей матери, я занимал почетное место, и та, которая была тогда самой молодой невестой в доме, расстачала мне сокровища внимания и любви.

В детстве любящая забота женщины принадлежит нам без нашей просьбы; она такая же необходимость, как свет и воздух, и мы ее принимаем без сознательной благодарности, как нечто естественное и должное: подрастающее дитя склонно даже обнаруживать нетерпение освободиться от окружающей его сети женской заботы. Но несчастный, лишенный ее в том возрасте, когда она необходима, есть истинно нищий. Таков именно был мой удел. И вот теперь, после

воспитания в обществе слуг, внезапно получив в дар всю щедрость женской любви, я не мог остаться к ней бесчувственным.

В те дни, когда внутренние покои были для меня недоступны, они были для моего воображения раем; женские покои, которые постороннему внешнему взгляду представляются местом заключения, мне казались жилищем свободы. Там не было ни школы, ни пандита; никто там, казалось мне, не обязан делать то, чего не хочет; их уединенность и праздность казались мне таинственными; там играли, делали, что хотели, и не должны были никому давать отчета в своих действиях. В особенности так дело как будто обстояло с младшей сестрой, которой, хотя она вместе с нами училась у пандита Нилькамала, было совершенно безразлично, знала ли она уроки хорошо или плохо. Между тем как мы в десять часов должны были, проглотив наскоро завтрак, собираться в класс, она беззаботно уходила во внутренние покои, в развеваемомся платье, вселяя в нас мучительное смущение.

Когда же в дом вошла новая невеста в золотом ожерелье, тайна внутренних покоев еще усилилась. Она пришла извне и стала одной из нас; незнакомка — и стала своей. Она необычайно меня притягивала, и я горел желанием подружиться с ней. Но когда я пытался проникнуть поближе, моя младшая сестра выталкивала меня: «Вам, мальчикам, нечего здесь делать, уходите». Обида, соединенная с разочарованием, преграждала мне дальнейший путь. Сквозь стеклянные двери их комнат можно было уловить очертания всякого рода странных предметов из фарфора и стекла, великолепной окраски и орнаментовки. Нас не считали достойными даже прикоснуться к ним, тем более не

хватило бы у нас духу просить поиграть ими. Эти редкие и прекрасные предметы служили только для того, чтобы окрасить еще большей привлекательностью чары внутренних покоев.

Так неоднократно бывал я оттолкнут и отброшен. Как внешний мир, так недостижим для меня был и внутренний; поэтому впечатления его казались мне картинами.

В девять часов вечера, когда уроки с Агоре Бабу кончены, я возвращаюсь к себе спать. Туманно мерцающий фонарь висит в длинном, крытом на венецианский лад коридоре, ведущем из внешних во внутренние покои. Переход этот оканчивается четырьмя-пятью ступеньками, которых не достигает свет и по которым я направляюсь в галерею, окружающую первый внутренний четырехугольник. Луч лунного света падает с восточной части неба на западный угол этих веранд, оставляя большую часть их во мраке. В этой полоске света собрались служанки; они сидят, тесно прижавшись друг к дружке, на полу, вытянув ноги, скручивая фитили из бракованного хлопка; они вполголоса болтают о своих семьях в деревне на родине. Много таких картин неизгладимо отпечаталось в моей памяти.

После ужина мытье рук и ног на веранде, перед тем как растянуться на широком просторе наших кроватей. Одна из нянек, Тинкари или Шанкари, садится тогда в головах и тихо рассказывает сказку о принце, который ехал пустынным болотом. Сказка кончается, и в комнате воцаряется тишина. Лицом к стене, я смотрю на белые и черные полосы на стене, образовавшиеся от отпавшей штукатурки; в тусклом свете они едва мерцают. Я вызываю из них множество фантастических образов и понемногу засыпаю.

Но в середине ночи я часто слышу крики старого Сварупа, сторожа, обходящего дозором веранду за верандой.

Затем наступил новый порядок, когда из этого внутреннего неведомого мира моих фантазий изошло то признание, по котором я так долго томился; когда внезапно было мне выплачено полностью с накопившимися недоимками то, что должно было бы выплачиваться постепенно день за днем. Должен признаться, что голова моя закружилась.

Маленький путешественник был полон рассказов о своем странствии, но с каждым повторением, рассказ становился все менее связан, пока он вовсе не перестал удовлетворительно связывать события. Увы! как и все прочее, отцветает и рассказ, а заодно и слава рассказчика; ему приходится всякий раз освежать краски.

После возвращения домой я был главным рассказчиком на тех собраниях, что происходили у моей матери по вечерам на террасе кровли, под открытым небом. Трудно устоять против соблазна прославиться в глазах матери, тем более, что этой славы достигнуть не трудно. Когда я был в Нормальной Школе и вычитал где-то, что солнце во много сот тысяч раз больше земли, я открыл эту истину моей матери, и это было для нее достаточным доказательством того, что малое на вид может обладать громадною величиною. Я читал ей наизусть стихотворные отрывки, служившие примерами в главе о стихосложении или стиле в нашей бенгальской грамматике. Теперь же я на наших вечерних собраниях излагал ей обрывки астрономических знаний, вычитанные у Проктора.

Приближенный моего отца, Кишори, принадлежал одно время к странствующей труппе, декламирова-

вшей звучные переводы эпосов, сделанные Дашарати. Когда мы были в горах, он часто говорил мне: «О, мой братец, если бы ты был с нами в нашей компании, мы могли бы давать блестящие представления». Мое воображение рисовало мне тогда прельщающую картину: мальчик декламирует, поет и читает перед публикой, странствуя из города в город. Я научился от него многим песням его репертуара—и они имели больший успех, чем мои рассказы о фотосфере солнца и о лунах Сатурна.

Но из всех моих талантов больше всего импонировало моей матери то, что я читал с отцом самого *Махарши* Вальмики, в оригинале, с соблюдением санскритского метра, между тем как прочие обитатели внутренних покоев принуждены были довольствоваться бенгальским переводом *Рамаяны* Криттиваса. «Прочитай мне что-нибудь из этой *Рамаяны*, прочитай»—сказала она, страшно обрадованная, когда я принес ей это известие. Увы, мое знание Вальмики ограничивалось краткими выдержками из *Рамаяны*, которые были приведены в моем учебнике санскрита, да и ими я овладел не вполне. Больше того, думая об этом теперь, я нахожу, что память обманула меня, и многое из того, что, как мне казалось, я знал твердо, на самом деле я знал очень туманно. Но у меня не было мужества сказать: «я забыл» матери, ждущей нетерпеливо доказательства блестящих талантов ее сына; в моем чтении было поэтому значительное расхождение между намерениями Вальмики и тем, что получалось. Кроткий сердцем мудрец, из своей небесной обители, верно, простил дерзость мальчику, искавшему славы материнского одобрения, но вряд ли простил мне Мадусудан, смиритель Гордости.

Моя мать, вне себя от радости, хотела, чтобы все

разделили ее удивление пред моим необыкновенным талантом. «Ты должен прочесть это Двиджендре» (мой старший брат), сказала она. «Попался», подумал я и выставил против этого все доводы, какие мог придумать, но моя мать и слышать о них не хотела, послала за братом и, едва он вошел, обратилась к нему: «Послушай, как чудесно Раби читает *Рама-яну Вальмики*. Пришлось подчиниться. Мадусудан сжалился и обнаружил меру в проявлении своей великой силы смирять гордость: мой брат был отозван и ушел по своим литературным делам. Он не обнаружил нетерпения услышать мой перевод с санскритского на бенгальский и, едва я успел прочесть несколько стихов, он только заметил: «Прекрасно», и удалился.

После моего допуска во внутренние покои, мне стало еще труднее вернуться к школьной жизни. Я прибег ко всевозможным уловкам, чтобы избежать Бенгальской Академии. Пытались определить меня в лицей св. Ксаверия, но с тем же результатом. После нескольких попыток, мои старшие братья оставили всякую надежду на меня и даже перестали бранить меня. Однажды моя старшая сестра сказала: «Мы все надеялись, что Раби станет человеком, но он разочаровал нас». Я почувствовал, что ценность моя в обществе явственно понижается, и тем не менее не мог подчинить свой ум и дать привязать его к вечному жернову школьной мельницы, которая, в своей чуждости жизни и красоте, казалась мне ужасным и жестоким соединением больницы и тюрьмы.

Одно воспоминание о лице св. Ксаверия для меня доныне свежо и чисто—воспоминание о преподавателях. Не потому, чтоб они были все в равной мере безупречных качеств; в частности, в тех, которые

преподавали в нашем классе, я не видел благоговейного смирения духа; они ни в каком случае не возвышались над уровнем обычных автоматов обучения. Машина воспитания, в нынешнем своем состоянии, безжалостно могущественна; а когда с нею соединяется жернов внешних форм религии, сердце мальчика раздавлено окончательно. Такой мощно вращаемый жернов и представлял наш лицей. И все же, как я сказал, я сохранил воспоминания, возвышающие образ моих учителей до идеальной сферы.

Таково воспоминание об о. Де Пенеранда. Ему было мало дела до нас; если память меня не обманывает, он лишь на время взял должность надзирателя в нашем классе. Он был испанец, и с некоторым затруднением говорил по-английски. Быть может, поэтому мальчики мало обращали внимания на его слова; мне казалось, что это невнимание было ему тяжело, но он терпеливо переносил его изо дня в день. Не знаю почему, мое сердце привязалось к нему; черты его лица не были красивы, но его облик имел для меня странную притягательную силу. Когда я смотрел на него, дух его казался погруженным в молитву; глубокий мир царил внутри и вокруг него.

В течение получаса мы должны были писать в тетрадах; это было время, когда, с пером в руке, я в мыслях уносился далеко. Однажды о. Де Пенеранда был очередным надзирателем нашего класса; он расхаживал взад и вперед за нашими скамейками; вероятно, он не раз уже замечал неподвижность моего пера. Вдруг он остановился за моей скамьей, наклонился надо мной, тихо положил руку на мое плечо и ласково спросил: «Ты нездоров, Тагор?» Это был самый простой вопрос, не больше, но я никогда не мог его забыть.

Не знаю, как другие мальчики, но я чувствовал в нем великую душу, и даже ныне воспоминание о нем как бы дает мне пропуск в молчаливое уединение храма бога.

Был еще другой старый священник, которого все мальчики любили, о. Генри. Он преподавал в старших классах, так что я не мог его хорошо знать, но помню только одно обстоятельство. Он знал бенгальский язык; однажды он спросил Нирода, мальчика из нашего класса, о происхождении его имени. Бедный Нирод настолько мало размышлял о себе самом, что вопрос о происхождении его имени никогда его не занимал, и он был совершенно неподготовлен к ответу. Но так как, при наличии такого количества неизвестных и редких слов в словаре, быть побежденным собственным своим именем было бы так же глупо, как попасть под собственный экипаж, то Нирод, не краснея, ответил: «*Ни*—отрицание, *род*—солнечные лучи, *Нирод*—то, что вызывает отсутствие солнечных лучей!»*.

17. ЗАНЯТИЯ ДОМА

Нашим домашним учителем стал в это время Гьян Бабу, сын пандита Ведантавагиша. Когда он убедился в том, что сделать меня внимательным к классным занятиям невозможно, он оставил этот путь, как безнадежный, и повел дело иначе. Он стал читать и переводить со мною *Рождение бога войны* Калидасы; читал со мною *Макбета*, сперва объясняя мне текст по-бенгальски, а потом сажал меня в классную комнату, пока я не изложу очередной отрывок бенгальскими стихами. Так он добился того, что я перевел всю трагедию. К счастью, я потерял этот перевод и постолько освобожден от бремени своей *кармы*.

Пандит Рамсарвасва следил за нашими успехами в санскрите; он тоже оставил безнадежную попытку научить нас грамматике и вместо нее читал с нами *Сакунталу*. Однажды он решил показать мой перевод *Макбета* пандиту Бидьясагару, и взял меня с собой к нему.

У него в это время сидел Раджкришна Мукерджи. Мое сердце билось, когда я вошел в большой кабинет пандита, битком набитый книгами; его строгое лицо не помогло мне собраться с духом. Такой почетной аудитории я еще никогда не имел, и жажда славы загорелась во мне с необыкновенной силой. Вернулся я домой, кажется, с некоторыми основаниями для необузданного восторга. Раджкришна Бабу же ограничился наставлением тщательно следить за тем, чтобы язык и метр тех сцен, где появляются ведьмы, был выдержан отлично от прочих.

Бенгальская литература была тогда невелика, и я быстро исчерпал все удобно и неудобочитаемое, что в ней в ту пору было. Литература для юношества тогда еще не выработалась, но я уверен, что мне не повредило ее отсутствие. Водянистая жидкость, которою теперь разбавляют литературный нектар, чтобы подать его молодежи, считается с их детским возрастом, но никак не с тем, что они—подростающие человеческие существа. Детские книги должны быть таковы, чтобы быть частично понятны детям, но частично и непонятны. В детстве мы читаем от начала до конца всякую хорошую книгу, и действует в душе как то, что мы понимаем, так и непонятное нам. Этим путем и сам мир действует на сознание ребенка; он усваивает себе то, что понимает, между тем как то, что вне его понимания, ведет его ступенью дальше.

Когда появились сатиры Динабанду Митры, я не

был еще в том возрасте, для которого они могли бы подойти. Одна наша родственница читала их, но никакие мои просьбы не могли ее заставить дать мне книгу в руки; она держала ее под замком. Недоступность книги сделала ее для меня особенно желанной, и я решил во что бы то ни стало книгу прочесть.

Однажды после обеда она играла в карты, и ее ключи, привязанные за конец ее *сари*, висели у нее за плечом. Я никогда не интересовался картами, я даже не выносил карточной игры; но в этот день вряд ли мое поведение обнаружило бы это, — так я был погружен в игру. Наконец, когда она была возбуждена близостью выигрыша, я стал развязывать узел, державший ключи; но я действовал неискусно, был к тому же взволнован, спешил, и был пойман. Владетельница *сари* и ключей, улыбаясь, сняла с плеча связку ключей и положила ее на колени. Тогда я пустился на хитрость. Моя родственница очень любила *пан*; я положил его перед ней. Когда же она встала, чтобы выбросить разжеванный «пан», ключи упали и были снова переброшены через плечо. Тогда они были украдены, преступник скрылся, и книга была прочтена. Она пыталась бранить меня, но попытка была безуспешной, потому что мы оба дружно расхохотались.

Д-р. Раджендралал Митра издавал иллюстрированный ежемесячник смешанного содержания. У моего третьего брата в книжном шкапу был переплетенный экземпляр за год. Я его раздобыл, и до сих пор памятно мне наслаждение, с каким я несколько раз под ряд прочел его от начала до конца. Сколько послеобеденных часов в праздники провел я лежа на спине на кровати, с томом журнала на груди, читая описание Нарвала, анекдоты о правосудии старых

кади или романтическую историю Кришны-кумари. Почему у нас теперь нет таких журналов? У нас есть, с одной стороны, философские и научные статьи, с другой — скучные путешествия, но нет таких журналов, без претензий, с разнообразным содержанием, которые обыкновенный человек мог бы прочитать с удовольствием, в роде тех, которые в Англии издаются Чэмберсом, Касселем, или в роде *Стрэнда*; между тем такие журналы дают обычному читателю простую, но насыщающую пищу, и для громадного большинства они полезнее всяких других.

Натолкнулся я в молодости и на другой небольшой журнал, называвшийся *Абодабанду* («Друг необразованных людей»); комплект его ежемесячных книжек я нашел в библиотеке старшего брата и глотал их ежедневно, сидя на пороге его кабинета так, что на юг видна была мне часть террасы. На страницах этого журнала я впервые познакомился со стихами Бихарила Чакрабарты. Из того, что я читал тогда, они понравились мне больше всего. Безыскусственные звуки его лирических стихотворений пробуждали во мне музыку полей, лесных прогалин. На эти же страницы пролил я немало слез над переводом *Павла и Виргинии*. Чудесное море, волнуемые ветром кокосовые рощи на берегу, игры горных коз на далеких безлюдных склонах — что за сладкие, освежающие видения вызывали они во мне над моей калькаттской террасой. И что за романтические отношения завязались на лесных тропинках уединенного острова между бенгальским мальчиком и Виргинией, с ее пестрым платком на голове!

Затем настала очередь и за *Бангардашан* Банкима, которым бенгальское сердце захвачено было как бурей. Трудно было уже ждать выхода в свет следую-

щей книжки, но ждать еще сверх того, пока прочитают ее родители, было просто невыносимо. Ныне всякий, кто хочет, может проглотить сразу *Чандрашекар* или *Бишабрикша*, но ждать, предвкушать целый месяц, растягивать на долгие промежутки сосредоточенную радость каждого краткого чтения, без конца возобновляя в уме все подробности и вместе с тем живя ожиданием дальнейших происшествий; соединение удовлетворения с неудовлетворенной жадью, пылающего любопытства с утолением его—всех этих медлительных услад при чтении произведения по мере выхода в свет журнала, где оно печатается,—не узнает уже никто.

Антологии из старых поэтов, составленные Шарадом Миттером и Акшам Саркаром, тоже были для меня полны интереса. Наши родители выписывали эти издания, но читали их нерегулярно, так что получить к ним доступ было мне нетрудно. Изысканный и неправильный майтильский язык Видьяпати привлекал меня особенно своей непонятностью; я старался добраться до смысла без помощи примечаний редактора и отмечал в записной книжке все более трудные слова вместе с их контекстом; насколько хватало знаний, я отмечал и грамматические особенности.

18. ДОМАШНИЕ

Одним из великих преимуществ моей молодости была литературная и артистическая атмосфера, господствовавшая в нашем доме. Я помню, как ребенком я стоял, опираясь о перила веранды, с которой видны были приемные покои, занимавшие особое здание. Эти покои были ярко освещены каждый вечер. Блестящие экипажи въезжали под портик, и беспрестанно

входили и выходили гости. Что происходило, я не мог хорошенько понять, но долго в ночной темноте смотрел я на ряд освещенных окон. Расстояние до них было невелико, но пропасть между моим детским миром и этими огнями была громадна.

Мой старший кузен Ганендра получил тогда драму, написанную пандитом Таркаратна, и ставил ее в нашем доме. Его энтузиазм к литературе и искусствам был безграничен. Он был в центре группы людей, сознательно стремившихся осуществить то возрождение, которое мы видим ныне. В нем и вокруг него проснулся уже сознательный национализм в одежде, литературе, музыке, искусстве, театре. Он ревностно изучал историю разных стран и начал, но не смог окончить, исторический труд на бенгальском языке. Он перевел и издал санскритскую драму *Викраморваши*; много известных гимнов принадлежит ему. Можно сказать, что он был нашим руководителем в деле сочинения патриотических стихотворений и песен. Это было еще в те времена, когда *Хинду Мела* ежегодно собиралась, при чем обычно исполнялась его песня: «Мне стыдно петь о славе Индии».

Я был еще ребенком, когда Ганендра умер во цвете молодости; но те, кто его хоть раз видели, не забудут его красивую, высокую, стройную фигуру. Его влияние на людей было неотразимо; он умел собрать людей, привязать их к себе; пока не прекращалось его могущественное притягательное действие, о распадении не могло быть и речи. Он был один из тех—род людей, свойственный нашей родине—кто, благодаря личной своей силе магнетического притяжения, легко становится центром семьи, деревни. В другой стране, где слагаются широкие политические, социальные, коммерческие группы, такие люди естественно становятся

национальными вождями. Способность организовать большое количество людей в корпорацию связана с гением особого рода; этот гений в нашей стране пропадает даром; эта потеря столь же прискорбна, думается мне, как если бы срывали с небесного свода звезды и употребляли их вместо спички.

Еще лучше помню я его младшего брата, моего кузена Гунендру*. Он также наполнял собою весь дом. Его широкое человеколюбивое сердце обнимало в равной мере родственников, друзей, гостей и подчиненных. На своей широкой южной веранде, или на лужайке подле фонтана, или на берегу пруда на площадке для ужина — повсюду он возглавлял самоchinные небольшие собрания, подобный воплощению самого гостеприимства. Благодаря широкому пониманию искусства и одаренности, он постоянно сиял восторгом. Веселые затеи и проказы, театральные представления и прочие развлечения всегда находили в его лице энергичного покровителя и с его помощью успешно процветали.

Мы были слишком молоды тогда, чтобы принимать участие во всех этих предприятиях, но волны веселья и жизни, вызывавшиеся ими, докатывались до нас и бились во врата нашего любопытства. Я вспоминаю, как однажды шутка, сочиненная моим старшим братом, читалась в большой гостиной моего кузена. С нашего места у перил веранды нашего дома мы слышали, через раскрытые окна напротив, взрывы смеха, смешанные со звуками комической песни, а иногда наблюдали урывками за необычайными выходками Акшая Мазумдара. Мы не могли разобрать, о чем говорилось в песне, но жили надеждою когда-нибудь ее понять.

Я вспоминаю, как однажды совершенно случайно

кузен Гунендра меня похвалил. Я никогда не получал в школе наград, если не считать одной, полученной за хорошее поведение. Из нас троих мой племянник Сатья учился лучше всех. Однажды он успешно сдал какой-то экзамен и был награжден призом. Когда мы приехали домой, я соскочил с экипажа, чтобы сообщить новость кузену, находившемуся в тот момент в саду. «Сатья получил награду», вскричал я, подбегая к нему. «А ты не получил приза?» спросил он. «Нет», сказал я, «не я, а Сатья». Мое искреннее участие в успехе Сатии видимо сильно тронуло моего кузена. Он обратился к своим друзьям и заметил, что это — весьма достойная черта. Я прекрасно помню, как поражен я был тогда, ибо я не думал о моем чувстве с этой точки зрения. Эта награда, полученная мною за то, что я не получил награды, не была благотворна для меня. Детям можно давать подарки, но не награды; пробуждение в них самодовольства им только вредно.

После полуденной трапезы Гунендра направлялся в хозяйственную канцелярию в нашей части дома. Эта комната была чем-то в роде клуба, где смех и беседы свободно перемешивались с деловыми занятиями. Мой кузен располагался на кушетке, а я пользовался случаем подсесть к нему.

Он обычно рассказывал мне из индийской истории. Я до сих пор вспоминаю то изумление, с которым я выслушал, что Клайв, установив британское владычество в Индии, вернулся домой и перерезал себе горло. С одной стороны, новая глава истории, с другой же — трагедия, похороненная в таинственном мраке человеческого сердца. Как возможна была столь мрачная катастрофа внутри и столь блестящий успех снаружи? Эти мысли тяжело угнетали меня весь день.

Иногда кузен Гунендра проявлял настойчивое любо-

пытство насчет содержания моих карманов. Достаточно было малейшего намека с его стороны, чтобы на свет появилась, без всякого смущения, моя тетрадка. Вряд ли нужно говорить, что мой кузен не был суровым критиком; мало того, его суждения смело могли бы служить текстом для объявлений. Тем не менее, когда в моих стихах чересчур явно сказывался возраст их автора, он не мог сдержать сердечного «ха! ха!».

Однажды я читал ему стихотворение «Мать Индия». В конце одной из строчек я не мог подобрать никакой иной рифмы, кроме «колесница», и мне пришлось втащить ее туда, хотя не было и следа той дороги, по которой она могла бы естественным образом появиться; но настойчивые требования рифмы не считались ни с какими отговорками голого рассудка. Буря смеха, которую кузен Гунендра приветствовал мою колесницу, отогнала ее назад по тому же самому невозможному пути, по которому она и приехала, и с тех пор о ней ничего более не было слышно.

Самый старший из моих братьев в то время занят был сочинением своего мастерского «Путешествия во сне»; он писал его, сидя на мягком кресле с подушками перед низеньким столом на южной веранде. Кузен Гунендра приходил каждое утро и сидел у него некоторое время. Его неутомимое влечение к поэзии помогало, подобно весенним ветрам, ее прорастанию. Брат попеременно писал и прочитывал вслух написанное, и его бурное веселье по поводу своих выдумок заставляло дрожать веранду. Он писал гораздо больше того, что включал в окончательную редакцию своих произведений,—настолько плодородно было его поэтическое воображение. Подобно пышным цветкам манго, пестрящим весною в тени его кущи, весь дом

был усеян отброшенными страницами «Путешествия во сне». Если бы кто-нибудь сохранил их, они ныне составили бы полную корзину цветов, способных украсить нашу бенгальскую литературу.

Подслушивая у дверей и подглядывая из-за угла, мы получали полную долю участия в этих поэтических пиршествах, — столь обильны они были. Мой старший брат был тогда в расцвете своего изумительного дарования; и из-под его пера изливался неутомимо, волна за волной, мощный поток поэтического вымысла, рифм и выразительности, исполняя и переполняя берега буйно-радостным триумфальным гимном. Сполнали мы понимали «Путешествие во сне»? Но разве необходимо было вполне понимать для того, чтобы наслаждаться? Мы не имели доступа к сокровищам в глубинах океана, — да и что мы могли бы сделать с ними, если бы было иначе? — но мы упивались игрою волн на его берегу; и как весело, при их ударах, мчалась кровь по всем нашим венам и артериям!

Чем больше я размышляю об этом периоде, тем лучше я отдаю себе отчет в том, что мы не знаем больше тех самочинных, трепещущих жизнью собраний, которые назывались *маджлиш*. В нашем отрочестве мы застали уже закат той интимной общительности, которая была характерна для предыдущего поколения. Жажда подобного общения была велика, и высоко ценились те, кто умел оживлять его.

В наши дни люди приходят друг к другу по делу или повинувшись общественному долгу, но не ради *маджлиша*. Им некогда, да и нет у них уже такой близости! Сколько движения видели мы, какое веселье царило в комнатах и на верандах, с их гулом разговоров и взрывами смеха! Исчезло умение наших предшественников собирать вокруг себя группы

и собрания, затевать и вести оживленную и веселую болтовню. Люди попрежнему приходят и уходят, но те же веранды и комнаты кажутся пустыми и покинутыми.

В те дни все, начиная от мебели и кончая самими празднествами, было предназначено для *многих*, так что сколько бы в той жизни ни было блеска и великолепия, — в ней не было высокомерия. Внешние ее достоинства с тех пор увеличились в количестве, но она стала бесчувственна, и теперь люди не знают искусства создавать уют для всех, для высоких и низких. Нагой или нищий не в праве более участвовать в ней без разрешения, ради одного лишь своего смеющегося лица. Те, кому мы теперь стремимся подражать в устройстве и меблировке наших жилищ, имеют свое особое общество, которому свойственно широкое гостеприимство. Беда наша в том, что мы потеряли то, что имели, но не обладаем средствами строить наново по европейскому образцу, в результате чего наша домашняя жизнь стала безрадостна. Мы все еще встречаемся лишь ради деловых или политических целей, но никогда не собираемся ради самого удовольствия быть вместе. Мы не стремимся более собирать людей из любви к ним. Я не могу себе представить ничего более уродливого, чем это отсутствие общительности; и когда я вспоминаю о тех, чей звонкий смех, идущий прямо от сердца, облегчал нам бремя домашних забот, — они кажутся мне гостями из какого-то иного мира.

19. ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗНАКОМСТВА

В эти годы я приобрел друга, роль которого в моем литературном развитии неоценима. Акшай Чаудури был школьным товарищем моего пятого брата. Он

был М. А. по английской литературе, которую он столь же любил, сколь и знал. Но он не менее горячие чувства питал и к нашим старинным бенгальским писателям и поэтам-вайшнавитам. Он знал сотни бенгальских стихотворений, неизвестно кем сочиненных, и исполнял их, звонким голосом, не взирая на мелодию и последовательность и даже на явно выраженное неодобрение своих слушателей. Никакие силы, будь то внутренние или внешние, не могли помешать ему отбивать такт своей музыки, для чего его подвижным пальцам мог служить ближайший столик или книга, которыми он энергично отбивал дробь, с целью поднять настроение своей аудитории.

Он также обладал ничем не ограниченной способностью вдохновляться всем. Он был столь же искусен в обнаружении в каждой вещи хороших сторон, сколь щедр на похвалы ей. Он обладал изумительным искусством молниеносно составлять стихотворения и песни, отнюдь не лишённые серьезных поэтических достоинств, но авторству их он не придавал никакого значения. Он совершенно не интересовался судьбою тех груд бумаги, которые были исписаны его карандашом. Он был настолько равнодушен к своему дарованию, насколько оно было плодотворно.

Одна из его более длинных поэм была высоко оценена, когда она появилась в *Бангадаршан'е*, и я слышал не раз, как посторонние люди пели его песни, ничего не зная об их сочинителе.

Искренняя любовь к литературе встречается гораздо реже, чем литературная эрудиция, и именно тот энтузиазм, который жил в Акшае Бабу, пробуждал во мне интерес к поэзии. Он был столь же щедр в дружбе, как в литературных оценках. Среди чужих он молчал, как рыба, вытащенная из воды, но в среде

друзей для него не существовало различий в уме или возрасте. С нами, мальчиками, он был мальчиком. Когда вечером он покидал *маджлиш* взрослых, я хватал его за петлицу и тащил к нам в классную комнату. Там он с неменьшей изобретательностью изображал собою душу нашего маленького общества, сидя на краю нашего классного стола. Не раз в таких случаях он восторженно декламировал английские стихотворения, обстоятельно излагал свою оценку какого-либо литературного произведения, или вел с нами горячие споры, или читал нам собственные сочинения, за которые бывал вознаграждаем щедро хвалой.

Моему пятому брату Джьотириндра я многим обязан в моем литературном и эмоциональном развитии. Он был сам энтузиастом и любил вызывать энтузиазм в других. Он не допускал, чтобы разница в возрасте служила каким-либо препятствием свободному обмену мыслей и чувств*. Великим даром свободы, которым я обязан ему, не осмелился бы наделить меня никто другой; многие даже упрекали его за это. Его общество сделало для меня возможным преодолеть мою робость. Это было в высокой степени благотворно для меня после сурового подавления моей свободы во времена детства, как благотворны тучи муссона после пламенного лета.

Но это внезапное избавление от цепей могло бы искалечить меня. Власть имеющие не устают оправдывать стеснение свободы возможностью злоупотреблений ею, но без этой возможности свобода не есть свобода. Единственным способом научиться правильно пользоваться какой-либо вещью является именно злоупотребление. Про себя, по крайней мере, я могу утверждать, что то небольшое зло, которое происте-

кало из моей свободы, всегда вело и к своему излечению. Я никогда не мог усвоить то, что меня заставляли проглатывать насильственно, будь то физически, или умственно — через уши. Всегда дело оканчивалось для меня страданием, за исключением тех случаев, когда меня предоставляли самому себе.

Джьотириндра без всяких колебаний предоставил мне итти самостоятельным путем к познанию себя, и только с той поры мое существо могло свободно производить — пусть шипы, но и цветы. Опыт научил меня бояться не столько самого зла, сколько тиранических попыток утвердить добро. Я испытываю инстинктивное отвращение к карательной полиции, политической или моральной. То состояние рабства, которое таким путем насаждается, есть худшая форма рабства, известная человечеству.

Одно время брат проводил целые дни за пианино, поглощенный сочинением новых мелодий. Потoki мелодии текли из-под его пляшущих пальцев, в то время как Акшай Бабу и я, сидя по сторонам, подбирали слова к мелодиям, по мере того как они выростали, чтобы лучше удерживать их в памяти*. Так я получил первое посвящение в музыку и в сочинение мелодий.

Во время нашего отрочества музыка процветала в нашем семействе. Для меня в этом было то преимущество, что я мог впивать ее, без малейших усилий, всем моим существом. Но зато, с другой стороны, я не получил вследствие этого того технического умения, которое приобретается лишь постепенным изучением шаг за шагом. Настоящего знания музыки я поэтому так и не приобрел.

Со времени моего возвращения из Гималаев сфера моей свободы все более расширялась. Господство слуг

окончилось; я всякими правдами и неправдами стремился расшатать узы школьной жизни; да и моим домашним учителям я не подчинялся уже попрежнему. Гьян Бабу, прочитав с нами поверхностно *Рождение бога войны* и некоторые другие книги, покинул нас ради юридической карьеры. Тогда явился Баджа Бабу. В первый день он дал мне переводить *Уэкфильдского викария*; книга мне понравилась, но когда он обнаружил намерение заняться со мною более серьезно, я сделался очень скуп на слова.

Как я сказал, старшие перестали за мною следить. Ни я, ни они не думали более о моем будущем. Почувствовав себя свободным, я стал заполнять свою тетрадку. Плоды моего творчества были не лучше, чем этого можно было ожидать. Мой дух не заключал в себе еще ничего, кроме пара, и наполненные паром пузыри пенились и кружились в водовороте бесплодной фантазии, бесцельные и бессмысленные. Устойчивых форм не было; было лишь движение: всплывали и лопались пузыри. Содержание было, при всей своей незначительности, взято у других поэтов. Моим было только неутомимое кипящее напряжение. Если движение уже имеется, но еще не созрело равновесие сил, то результатом может быть лишь слепой хаос.

Моя невестка* очень любила литературу. Она читала не для простого времяпрепровождения; бенгальские книги, которые она читала, заполняли всецело ее мысли. Я участвовал в ее литературных предприятиях. Она была восторженной ценительницей *Путешествия во сне*; я тоже, тем более, что рос в атмосфере его создания, и его красоты переплелись со всеми фибрами моего сердца. К счастью, оно настолько было недостижимо для меня по своим достоинствам, что я никогда не пытался подражать ему.

Путешествие во сне может быть уподоблено величественному дворцу Аллегории, с бесчисленными залами, комнатами, уголками и нишами, полными статуй и картин, изумительной композиции и мастерства; а кругом него — сады, беседки, фонтаны и тенистые уголки в изобилии. Оно не только богато поэтической мыслью и фантазией, — столь же изумительны в нем широта и разнообразие языка и выразительности. Для создания столь великолепного здания, эстетически законченного во всех своих деталях, требовалась громадная творческая сила, и вот почему мне никогда не приходило в голову пытаться подражать ему.

В это время Бихарилаль Чакрабартти печатал в *Арья Даршан* свои песни, объединенные под названием *Шарад Мангаль*. Моя невестка была очень увлечена его лирикой. Большинство этих песен она знала наизусть. Она часто приглашала поэта к нам и сама вышила для него мягкую подушку. При этом случае я познакомился с ним. Он меня очень полюбил, и я усвоил обычай заходить к нему во всякое время дня. Его сердце было так же объемлюще, как и его тело, и нимб фантазии окружал его, как поэтическое астральное тело, которое казалось его более верным образом. Он был постоянно преисполнен подлинной радости художника, и когда я бывал с ним, я всегда впивал ее в себя. Часто заставлял я его, в его маленькой комнатке в третьем этаже, развалившись на гладком прохладном полу, в полуденную жару, и пишущим стихи. Несмотря на разницу возрастов, его приветствие всегда бывало настолько искренно и сердечно, что я никогда не чувствовал ни малейшей робости в его присутствии. Затем, облачась вдохновением и забыв обо всем окружаю-

щем, он начинал читать мне свои стихи или петь свои песни. Не могу сказать, чтобы он был даровитым певцом; но голос у него все же был, и можно было прекрасно понять подразумеваемую им мелодию *. Когда он закрывал глаза и раздавался его густой, глубокий голос, его выразительность восполняла недостатки исполнения. Я доселе как будто слышу некоторые спетые им песни. Я иногда сочинял и сам мелодию к его словам и пел их ему.

Он был большим поклонником Вальмики и Калидасы. Я вспоминаю, как однажды, прочитав со всем напряжением голоса описание Гималаев из Калидасы, сказал: «Обилие здесь долгих *a* не случайно. Поэт умышленно повторяет здесь так часто этот звук, начиная от *Devatâtma* до *Nâgâdhirâjâ*, с целью лучше дать почувствовать величие Гималаев» *.

В то время я не мечтал о большем, чем чтобы сделаться поэтом в роде Бихари Бабу. Я, может быть, убедил бы даже себя в том, что мне это удалось, если бы не моя невестка, его ревностная почитательница. Она напоминала мне часто о санскритском изречении, гласящем, что недостойный искатель поэтической славы пожинает лишь насмешки. Быть может, она знала, что, если дать свободу моему сомнению, с ним потом трудно будет совладать. Она очень редко хвалила меня за поэтические способности или за пение; но она никогда не упускала случая похвалить за мой счет кого-либо иного; в результате, я совершенно разуверился в моих певческих способностях. Сомнения насчет моего поэтического дарования также осаждали меня; но так как поэзия была единственной областью, в которой я еще мог сохранять уважение к себе, я не позволял никому лишать себя всяких надежд в этом отноше-

нии; мало того, поэтическая потребность во мне была настолько сильна, что бросить мои поэтические опыты было бы для меня совершенно невозможно.

20. ПЕЧАТАНИЕ

До тех пор мои произведения не выходили из семейного круга. Но когда стал издаваться ежемесячник под названием *Гьянанкур* («Побеги знания»), то в нем, как это и соответствует его названию, нашлось место для начинающего поэта. В нем печаталось без разбора все, что я давал, и до сих пор еще в уголке моего сердца живет опасение, что, когда придет для меня судный день, какой-нибудь восторженный полицейский агент литературы примется за поиски в заброшенном уголке библиотеки и выставит все напоказ перед безжалостным взором публики.

Мое первое прозаическое сочинение тоже увидело свет на страницах *Гьянанкура*. То была критическая статья, и с ней связана небольшая история.

В печати появилась книга стихов под заглавием *Bhubanmohinî Pratibhâ*. Акшай Бабу в *Sâdhârani* и Будеб Бабу в *Education Gazette* встретили ее появлением лестными отзывами. Один мой друг, который был несколько старше меня и дружба с которым у меня завязалась как раз тогда, приходил и показывал мне получавшиеся им письма, подписанные *Bhubanmohinî*. Он был в числе поклонников этой книги и часто посылал почтительные приношения, состоявшие из книг или костюмов, по адресу уважаемой им поэтессы *.

Некоторые из этих стихотворений были настолько неводержны как по мысли, так и по языку, что

я не мог примириться с принадлежностью автора к женскому полу. Показанные мне письма еще меньше возможно было приписать женщине. Но мои сомнения не поколебали чувств моего друга, и он продолжал служение своему идолу.

Тогда я выступил с критикой произведений неведомого автора. Я дал себе волю и пустился в подробные рассуждения о лирике и о стихах вообще; благо бумага все терпит, не краснея, и не выдает подлинного качества того, что на ней напечатано. Друг мой пришел в большое волнение и пригрозил мне, что ответ напишет В. А.—В. А.! Я потерял голову от страха. Я почувствовал себя так же, как в детстве, когда Сатъя звал полицейского. Я уже видел в своем воображении триумфальную колонну вражеских аргументов, воздвигнутую над моими тонкими разграничениями, которые на моих глазах рассыпались в прах под ударами веских цитат, и закрытую дверь, навсегда преграждающую мне путь к публичным выступлениям. Увы, моя критика, под какой злою звездой ты родилась! Я проводил день за днем в томительном ожидании. Но, подобно полицейскому, В. А. так и не появился.

21. БАНУ СИНХА

Как я уже упоминал, моим любимым занятием было изучение старинных вайшнавитских поэм, которые собирали и издавали Бабу Акшай Саркар и Бабу Шарада Миттер. Смешанный майтильско-бенгальский язык этих поэм* я понимал с трудом, но это препятствие лишь увеличивало мое стремление добраться до их смысла. Меня влекло к ним то же любопытство, с которым я смотрел на таящийся в семени росток

или думал о неведомых тайнах, скрытых под поверхностью земли. Мое воодушевление питалось надеждою извлечь на свет божий какую-нибудь забытую жемчужину поэзии, по мере того, как я углублялся в девственный мрак этой сокровищницы.

Во время этих занятий мною овладела идея облечь мои собственные сочинения в одеяние такой же тайны. Я слышал от Акшай Чаудури историю английского поэта-мальчика Чаттертона. Я не имел никакого представления об его поэзии, как, вероятно, и сам Акшай Бабу. Если бы мы были с ней знакомы, эта история потеряла бы для нас свое очарование. Мелодраматическая судьба Чаттертона воспламенила мое воображение: разве не были многие введены в заблуждение его удачным подражанием классикам? Но несчастный юноша кончил свою жизнь самоубийством. И вот я решил последовать смелому примеру Чаттертона—исключая, впрочем, самоубийство.

Как-то раз в полдень собрались густые тучи. Наслаждаясь приятной тенью, в час полуденного отдыха, я, лежа ничком на постели в моей внутренней комнате, написал на грифельной доске майтильскую подражательную поэму *Gahana kusuma kunja mājhe...* Я, не теряя времени, прочел ее первому, кто попался мне навстречу; опасаться, что он поймет в ней хоть одно слово, не было ни малейшего основания, и ему оставалось только с важностью кивнуть и сказать: «Хорошо, действительно, очень хорошо!»

Однажды я сказал своему другу, о котором я недавно упоминал: «Недавно, при разборе библиотеки Ади Брахма Самаджа была найдена рваная старая рукопись, и из нее я переписал несколько стихотворений старого вайшнавитского поэта по имени Бану Синха* и прочитал ему некоторые из моих подра-

жаний. Он был глубоко взволнован. «Таких стихотворений не могли бы написать даже Видьяпати и Чандидас!» вскричал он в восторге. «Я непременно должен получить эту рукопись, чтобы передать ее Акшаю Бабу для напечатания».

Тогда я показал ему свою тетрадку, и он окончательно убедился, что этих стихотворений не могли бы написать даже Видьяпати или Чандидас, ибо автором их был не кто иной, как я сам. Мой друг лишь смущенно пробормотал: «Да, да, они не плохи».

Когда стихотворения Бану Синха печатались в *Барати*, д-р Нишиканта Чаттерджи находился в Германии. Он написал диссертацию о лирической поэзии нашей страны, сравнивая ее с лирикой европейской. Моему Бану Синха отведено было, как одному из старинных поэтов, почетное место, на какое не мог рассчитывать ни один из современных писателей. За эту-то свою диссертацию Нишиканта Чаттерджи и получил степень доктора философии.

Кто бы ни был этот Бану Синха, но если бы его сочинения попали в мои руки впоследствии, клянусь, что я не был бы обманут. Его язык еще мог ввести в заблуждение, ибо старинные поэты писали не на своем языке, а на языке искусственном, различном у каждого из них. Но в их чувствах не было и следа искусственности. Испытание этой поэзии на звон обнаружило бы ее низкопробный состав. Ее звуки — не пленительное пение флейт нашей древности, но лишь дребезжание современной, чуждой нашему уху, шарманки.

22. ПАТРИОТИЗМ

Извне могло бы показаться, что многие чуждые обычаи нашли доступ в нашу семью, но на ее очаге

пылало немеркнувшее пламя национальной гордости. Прирожденное преклонение перед нашей страной, которое никогда не покидало моего отца в течение всех революционных превратностей его жизни, у его потомков возродилось в виде сильного патриотического чувства. Любовь к родине вообще не была, правда, характерной чертой того времени, о котором я пишу. Наши образованные люди тогда еще чуждались как языка, так и мысли своего народа. Тем не менее, мои старшие братья всегда интересовались бенгальской литературой. Когда кто-то из новых свойственников написал моему отцу письмо по-английски, оно было немедленно возвращено отправителю.

Хинду Мела — так называлась ежегодная ярмарка, устраивавшаяся при содействии нашей семьи. Бабу Набагопаль Миттер назначен был ее администратором. Это была, пожалуй, первая попытка воплощения идеи Матери-Индии, как идеи национально-религиозной. Народный гимн *Баратер Джая* был тогда сочинен моим братом. Пение песен, возвеличивающих родину, декламация патриотических стихов, выставки произведений туземных искусств и ремесел, поощрение национальных талантов и способностей — вот что составляло программу этой *Мела*.

По случаю *дарбара* лорда Керзона ¹⁾ в Дели я написал статью, — во время лорда Литтона ²⁾ то было стихотворение. Британское правительство в те дни боялось, правда, России, но перо четырнадцатилетнего поэта не внушало ему опасений. Итак, хотя мое стихотворение полно было пламенных чувств, свой-

¹⁾ 1899 г.

²⁾ 1876 г.

ственных тому возрасту, в рядах представителей власти, от главнокомандующего до полицейского комиссара, никаких признаков тревоги оно не вызвало, не появлялось и слезливого письма в *Таймсе* с пророчеством скорой гибели империи из-за равнодушия хранителей порядка на местах. Я продекламировал мое стихотворение под деревом во время *Хинду Мела*; в числе слушателей был поэт Набин Сен. Впоследствии, когда я уже был взрослым, он напомнил мне об этом случае.

Мой пятый брат, Джьотириндра, организовал политическую ассоциацию, председателем которой был старый *Раджнарайн Басу*. Заседания ее происходили в полуразвалившемся здании на одной из удаленных улиц Калькатты и окружены были покрывалом тайны. Если не считать этой таинственности, то ни в наших прениях, ни в наших делах не было ничего такого, чего правительство могло бы опасаться. Остальные члены нашей семьи совершенно не догадывались о том, где мы проводили наше время после обеда. Дверь запиралась, зал заседаний погружался в темноту, паролем была ведическая *мантра*, беседа велась шопотом. Словом—по спине пробегали мурашки; а нам только этого и было нужно. Хотя я был еще мальчиком, но тоже состоял членом ассоциации. Мы настолько окружили себя атмосферой вымысла, что, казалось, все время реяли в воздухе на крыльях энтузиазма. Робости, неуверенности или страха мы не знали; главной нашей целью было горение в огне собственного воодушевления.

Храбрость обнаруживает иногда свои отрицательные стороны, но люди всегда окружали ее глубоким преклонением. В литературах всех стран мира мы видим непрестанное стремление к поддержанию этого

преклонения. Где бы ни жила на земле какая-либо группа людей, она не может оставаться глухою ко внушениям этого чувства. Мы отвечали на его призывы, как могли, давая волю своей фантазии, собираясь, произнося патетические речи и усердно распевая песни.

Если же этому стремлению, глубоко укорененному в человеческой природе и столь ценимому человеком, претраждаются все пути, то тем самым оно отводится в русло вырождения. Недостаточно держать открытой дорогу только для целей, предусмотренных законом; если не будет оставлено путей для отважных дерзаний, человеческая душа будет томиться по освобождению и будет искать тайных проходов, извилистых и ведущих к пропасти. Я твердо убежден в том, что если бы правительство обнаружило подозрительность и боязливость, то комедия, разыгрывавшаяся юными членами ассоциации, могла бы обратиться в жестокую трагедию. Но игра ныне кончена, ни один из кирпичей *Форты Уильяма* от нее не пострадал, и мы улыбаемся теперь, вспоминая о ней.

Мой брат Джьотириндра занялся придумыванием общеиндийского национального костюма и предлагал ассоциации различные образцы. *Доти* имела недостаточно деловитый характер; брюки казались чем-то чуждым; так он дошел до некоего компромиса между ними: с одной стороны, его костюм отличался от *доти*, а с другой—представлял мало удачную попытку реформы брюк. Брюки были спереди и сзади украшены ложной складкой *доти*. Наводящий ужас головной убор, получившийся из сочетания тюрбана и *сола-топи*, даже наиболее воодушевленные члены нашей ассоциации не решились бы назвать красивым. Ни один человек, одаренный обычно степенью

мужества, не осмелился бы так одеваться; но мой брат бестрепетно носил весь свой наряд среди бела дня, проходя через весь дом к экипажу, ждавшему его на улице, одинаково равнодушный к изумлению родных и друзей, привратника и кучера. Много можно было бы найти индийцев, готовых умереть за свою страну, но я уверен, что лишь немногие способны были бы для блага Индии показаться на улице в таком «общее-индийском одеянии».

Каждое воскресенье мой брат устраивал охоту, т. н. *шикар*. Многих лиц, участвовавших в этих увеселениях помимо нашего приглашения, мы и не знали; были среди них плотник, кузнец и другие из всех слоев общества. Единственное, чего не было в этих *шикар*'ах—это кровопролития, по крайней мере я не могу припомнить ни одного. Но все другие принадлежности охоты были в таком изобилии и такого качества, что отсутствие убитого или раненого животного не имело для нас никакого значения. Мы уходили из дому с раннего утра, и моя невестка снабжала нас обильным запасом *лучи*, с надлежащими добавлениями, а так как их количество не зависело от исхода нашей охоты, то нам никогда не приходилось возвращаться голодными.

В окрестностях Маниктала расположены виллы с садами. Под конец мы обычно приходили на одну из таких вилл, рассаживались все вместе, независимо от кастовой принадлежности, на купальной площадке пруда и с решительностью брались за наши *лучи*, от которых оставляли в целости только содержавшие их плетенки.

Браджа Бабу был одним из наиболее ревностных среди этих миролюбивых охотников. Он был инспектором Metropolitan Institution и одно время давал нам

частные уроки. Однажды ему пришла в голову счастливая мысль огоршить *мали* (садовника) одной виллы, в которую мы вторглись самочинно, как всегда, таким обращением: «Послушай, давно ли здесь был дядюшка?» *Мали*, поспешив поклониться, отвечал: «Нет, господин, хозяина в последнее время здесь не было.—«Прекрасно, набери нам зеленых кокосовых орехов с деревьев». В тот день мы в добавление к нашим *лучи* получили еще прекрасный напиток.

Один мелкий земиндар был среди участников наших прогулок. У него была вилла на берегу реки. Однажды мы устроили в ней пикник, с обычным нарушением кастовых правил. После полудня разразилась сильнейшая гроза. Мы стояли на ступеньках, сходящих к реке, и пели наши песни под аккомпанимент бури. Я не берусь утверждать, что в пении Раджнарайн Бабу можно было ясно различить все семь тонов музыкальной гаммы, но это его не смущало, и, подобно тому, как при чтении старинных санскритских сочинений текст заглушается ритмом, так и в музыкальных опытах нашего Раджнарайн Бабу оживленные телодвижения и игра лица почти подавляли более слабую музыкальную сторону; его голова мерно раскачивалась в такт песне, а буря трепала его развевающуюся бороду. Лишь поздно ночью мы вернулись домой в наемной коляске. К тому времени тучи рассеялись, и засверкали звезды. Мрак сгущался, воздух был спокоен, деревенские дороги пустынные, а кустарники по обеим сторонам сияли мириадами светляков, подобно бесшумному хороводу искр на каком-то фантастическом празднестве.

Одной из целей нашей ассоциации было поощрение ручного производства спичек и тому подобных товаров. Для этого каждый из членов должен был жертво-

вать одну десятую часть своего дохода. Итак, речь шла об изготовлении спичек, но дерево для спичек не так-то легко было раздобыть. Мы, правда, все хорошо знаем тот огонь, который может быть вызван умелым применением пучка розог *кангра*; но то, что загорается от его прикосновения, нисколько не похоже на ламповый фитиль. После многих опытов, нам удалось изготовить целую коробку спичек. Их ценность не исчерпывалась, однако, воплощенным в них патриотическим энтузиазмом, ибо на те деньги, которые были потрачены на их изготовление, семейный очаг мог бы быть зажигаем в течение года. К тому же, у них был еще один небольшой дефект: они не воспламенялись, если под рукою не было огня, к которому их можно было бы поднести. Если бы они унаследовали хоть долю того патриотического горения, в котором они были рождены, они могли бы находить сбыт даже в наши дни.

Однажды до нас дошла весть о том, что некий юный студент работает над устройством механического станка. Мы немедленно отправились посмотреть на его работу. Никто из нас не имел надлежащих знаний для оценки станка с практической точки зрения, но по готовности верить и надеяться мы не уступили бы никому. Бедняга страшно задолжал при постройке своей машины,—мы уплатили по его долгам. Как-то Баджа Бабу явился к нам с реденьким деревенским полотенцем, обернутым вокруг головы. «Сделано на нашем станке!» воскликнул он, с поднятыми руками отплясывая воинственный танец. В то время у него в волосах уже показывалась седина.

В конце концов в наше общество вступило несколько умудренных жизнью людей; они дали нам

отведать плода познания и разрушили наш маленький рай.

Когда я впервые познакомился с Раджнарайн Бабу, я был еще слишком молод, чтобы оценить его разносторонность. В нем соединялись совершенно противоположные черты. Невзирая на свои седые волосы и бороду, он был юн, как самый юный из нас: его почтенная наружность была лишь белым покрывалом, сохранявшим свежесть его молодости. Даже его обширная ученость ничего не изменяла в этом отношении; он оставался всегда одинаково простодушным. Вплоть до конца своих дней он продолжал смеяться тем же чистосердечным смехом, которого не могли сдержать ни годы, ни недомогание, ни домашние заботы, ни глубокомыслие, ни разнообразные знания; а всем этим он обладал в полной мере. Он был любимым учеником Ричардсона и воспитан был в атмосфере английского образования; но, несмотря на это, он преодолел все препятствия, вытекавшие из его прежнего образа мыслей, и с любовью и преданностью посвящал себя бенгальской литературе. Он был по-разному мягок, но в то же время полон огня, который прорывался сильнее всего в его патриотизме, как бы для того, чтобы испепелить всю скудость и бессилие нашей страны. Память об этом улыбающемся, горячем, вечно-молодом святом достойна почитания наших соплеменников.

23. «БАРАТИ»

В общем, период, о котором я пишу, исполнен был для меня экстатического возбуждения. Много бродил я бессонных ночей,—без какого-либо особого повода, просто из стремления поступать не так, как

принято. Я оставался один читать в нашем тускло освещенном классе; каждые четверть часа доносился мелодичный звон далеких церковных часов, как будто возвещающий о продаже с молотка каждого протекающего часа; вновь и вновь раздавались громкие *Хариболь*, когда трупы умерших проносились по Читпурской дороге к кремационному кладбищу Нимтоллы. Не раз в лунные летние ночи я, как некий беспокойный дух, блуждал между кадок и горшков с растениями по крыше нашего дома, залитой ярким лунным светом, перемежающимся с густыми тенями.

Те, кто счел бы это поведение просто за признак какого-то мечтательно-поэтического настроения, впали бы в несомненную ошибку. Даже сама земля, несмотря на ее возраст, подчас поражает нас своими отклонениями от трезвой устойчивости; в дни молодости, когда она еще не была покрыта твердой корой, она была богата вулканами и нередко обнаруживала свой буйный темперамент. И человек в юности проходит через ту же стадию. До тех пор, пока элементы его личности еще не приняли своей окончательной формы, их брожение нередко принимает бурный характер.

В это время мой брат Джьотириндра решил приступить к изданию журнала *Барати*, с нашим старшим братом в качестве редактора, — что дало новую пищу нашему энтузиазму. Мне как раз исполнилось шестнадцать лет, но и меня привлекли в штаб редакции. Несколько времени тому назад я, со всем нахальством юношеского тщеславия, написал критический разбор *Мегнадбада*. Как кислый вкус свойствен незрелым плодам манго, так оскорбительная резкость — незрелой критике. Когда отсутствуют другие способности, способность к придиркам и втыка-

нию шпилек выражена резче всего. Так я искал бессмертия, оставляя мои бессильные царапины на этом бессмертном эпосе. Эта нахальная статья была моим первым печатным выступлением в журнале *Барати*.

В первом томе я напечатал также длинную поэму под названием *Кабикахини* (История поэта). Она была произведением молодого человека, не видавшего до того времени фактически ничего, кроме преувеличенного изображения своего собственного туманного «я».

Героем поэмы был, разумеется, поэт: не столько действительный автор поэмы, сколько его воображаемый двойник, или идеал. Впрочем, вряд ли точно будет сказать, что он хотел *быть* тем, кого он изображал; скорее он изображал себя таким, каким его хотели видеть, по его мнению, другие и каким он заставил бы мир изумленно воскликнуть: «Да! вот настоящий поэт, как следует быть!» В поэме описывалась некая грандиозная феерия всеобщей любви, — любимый сюжет начинающего поэта, столь же эффектный, сколь и легкий. До тех пор, пока ни одна истина еще не взошла на умственном горизонте и единственным товаром являются чужие слова, — простота и самоограничение невозможны. Попытки превознесения того, что велико само по себе, невозможны без смешных преувеличений. Я краснею, перечитывая эти юношеские излияния, но меня в то же время охватывает тревога: что, если и мои позднейшие писания страдают теми же уродливостями, вызванными погоней за эффектом, хотя и в менее явной форме? Я не сомневаюсь в том, что мой громкий голос часто заглушает то, что я хотел бы сказать; и придет день, когда с меня спросится и за это.

Кабикахини была моим первым произведением,

вышедшим отдельной книгой. Когда я приехал с моим вторым братом в Ахмедабад, один из моих горячих друзей сделал мне сюрприз: напечатал *Кабикахини* в виде отдельной книжки и прислал мне экземпляр. Я не могу сказать, чтобы он поступил хорошо; но чувства, вызванные во мне тогда, не походили на возмущение. Он был наказан, однако,—правда, не автором, а публикой: кошельки читателей оставались плотно закрытыми. Мне передавали, что мертвое бремя этих книг лежало много долгих дней на полках книгопродавцев и на сердце неудачливого издателя.

Писания того возраста, в котором я начал сотрудничать в *Барати*, вообще не могут быть пригодными для опубликования. Нет лучшего способа обеспечить себе угрызения совести в зрелом возрасте, чем слишком рано начать печататься. Но все же и здесь есть обратная сторона: непреодолимая жажда видеть свои произведения в напечатанном виде исчерпывает себя еще в молодые годы. Кто мои читатели, что они говорят, какие опечатки остались неисправленными,—эти и тому подобные беспокойства проходят, как детские болезни, и оставляют зрелому возрасту досуг, необходимый для более здорового отношения к своим писаниям.

Бенгальская литература—недостаточно стара для того, чтобы она могла выработать внутренние сдерживающие начала, способные контролировать ее жрецов. По мере того, как им приобретается писательский опыт, бенгальский писатель должен вырабатывать изнутри эти сдерживающие силы. Это ведет с неизбежностью к появлению большого количества литературного хлама. Претенциозное стремление совершать чудеса с ограниченными данными, имеющимися на-

лицо, неизбежно принимает вначале характер наваждения; и поэтому усилия превзойти пределы своих талантов, а тем самым и пределы истины и красоты, видны на каждом шагу в ранних произведениях. Отыскание своего подлинного «я», привычка ценить свои силы в их естественных пределах—все это дело времени.

Как бы то ни было, я оставил на страницах *Барати* много излиятий своего юношеского сумасбродства, заставлявшего меня после стыдиться,—стыдиться не только литературных дефектов этих писаний, но и их полного бесстыдства, экстравагантности и претенциозной искусственности. В то же время я беру на себя смелость утверждать, что они полны энтузиазма, ценности которого не следует преуменьшать. Этому периоду жизни заблуждения столь же свойственны, как и детская способность надеяться, верить и радоваться. И если топливо заблуждений необходимо было для питания пламени энтузиазма, то—пусть то, что этого заслуживало, превратилось в пепел!—все же это благое пламя не напрасно озаряло мою юность.

24. АХМЕДАБАД

После того, как *Барати* вступила во второй год издания, мой второй брат высказал намерение взять меня с собою в Англию, и когда мой отец дал на это свое согласие, эта неожиданная милость providения была для меня большой радостью.

Сперва я поехал с моим братом в Ахмедабад, где он занимал должность судьи. Моя невестка с детьми была в то время в Англии, так что его дом оставался почти пустым.

Резиденция судьи известна под названием *Шахи-баг*. Это дворец старых падишахов. У подножия стены, поддерживающей террасу, струился узкий летний поток реки Савармати, покрывавший ее широкое песчаное русло лишь с одного края. Мой брат уходил в суд, а я оставался один в обширном дворце, где только воркование голубей нарушало полуденный покой; необъяснимое любопытство влекло меня из одной пустой комнаты в другую.

В одной из зал в стене были ниши, в которых мой брат держал свои книги. Среди книг я нашел роскошное издание сочинений Теннисона, с крупным шрифтом и многочисленными иллюстрациями. Для меня эта книга была столь же молчалива, как дворец, и я с тем же любопытством перелистывал ее картины, как блуждал по дворцу. Нельзя сказать, чтобы я ничего не понимал в тексте, но то, что я понимал, все же более походило на нечленораздельное воркование, чем на слова. В библиотеке моего брата я нашел также собрание санскритских поэм, изданное доктором Хэберлином и напечатанное в старой серампорской типографии. Эти поэмы также были мне недоступны, но звучные санскритские слова и музыка размера *Амару Шатака* приковывали меня к мягкому рокоту этих стихов.

Самая верхняя комната дворцовой башни была моей отшельничьей кельей, где единственным моими сожителями были осы. В непроницаемом мраке ночей я спал там один. Иногда одна или две осы выпадали из улья на мою постель, и если я, поворачиваясь, натывался на них, встреча оказывалась неприятной для осы и чрезвычайно огорчительной для меня.

В лунные ночи одною из моих прихотей было блуждать взад и вперед по просторной террасе и

смотреть через реку. В одну из таких ночей я сочинил впервые свои собственные мелодии к моим песням. Песня, с обращением к Девушке-Розе, сочинена была тогда; она была впоследствии напечатана.

Неудовлетворенный своим знанием английского, я приступил к чтению некоторых английских книг с помощью словаря. С самых ранних лет мне свойственно было такое отношение к чтению, что неполное понимание текста не мешало мне двигаться вперед; мне достаточно было для движения тех мостков, которые мое воображение перекидывало через непонятные мне места. Вплоть до настоящего дня я продолжаю пожинать как хорошие, так и плохие плоды этого моего обыкновения.

25. АНГЛИЯ

Проведя таким образом шесть месяцев в Ахмедабаде, мы поехали в Англию. В недобрый час начал я писать письма о моем путешествии к моим родственникам и в *Барати*. Теперь я не могу при всем желании взять их назад. Они были не чем иным, как плодом юношеского задора. В этом возрасте дух отказывается признать, что он больше всего должен гордиться своею способностью понимать, воспринимать и уважать и что скромность—лучший способ расширения его владений. Преклонение и восхваление считается признаком слабости и даже поражения, и именно из желания обесславить, поразить, уничтожить воображаемого противника своими аргументами и рождаются этого рода интеллектуальные фейерверки. Эти мои попытки установить свое превосходство посредством брани могли бы быть забавными для меня теперь, если бы не было так прискорбно

в них отсутствие прямоты и элементарной учтивости.

С самых ранних лет я почти совершенно не имел никаких сношений с внешним миром. Понятно поэтому, что когда я, семнадцатилетним мальчиком, был брошен в море английской жизни, моя способность хотя бы только удержаться на поверхности могла вызывать большие сомнения. Но моя невестка с детьми как раз в это время жила в Брайтоне, и я выдержал первые удары его волн под кровом ее дома.

В это время как раз надвигалась зима. Однажды вечером, когда мы болтали, сидя у камина, дети прибежали к нам с волнующим известием: «Идет снег!» Мы тотчас же вышли из дому. Было очень холодно, небо залито было белым лунным светом, земля—покрыта белым снегом. То не был знакомый мне лик Природы, то было нечто совершенно иное—похожее на сон. Все близкое как бы отступило куда-то далеко; осталась лишь безмолвная белая фигура аскета, погруженного в глубокое размышление. Я только открыл дверь на улицу,—и мне явилось откровение такой чудесной, такой безмерной красоты, какого я никогда не испытывал раньше.

Дни мои проходили весело, в шумных играх с детьми моей невестки, которая относилась ко мне с заботливой нежностью. Дети много шутили над моим своеобразным английским произношением, и хотя я с увлечением участвовал во всех их забавах, я не мог никак понять, что смешного в моем произношении. Как мог я им объяснить, что нет никаких разумных способов отличить звук английского *a* в слове *warm* от звука *o* в слове *worm*? Так мне, несчастному, приходилось нести клеймо комизма по вине капризов английского правописания.

Я усердно изобретал для детей разные занятия и игры. Это умение сослужило мне хорошую службу много лет спустя; оно и до сих пор приносит мне пользу, но нет во мне уже того неистощимого потока изобретательности. Это был первый случай в моей жизни, когда я мог посвятить себя детям, и я делал это со всею свежестью и щедростью первого дара.

Но я отправился в путь не для того, чтобы замечать мой дом за морем другим—в Англии. Целью поездки было, чтобы я изучил юриспруденцию и вернулся домой бакалавром. Поэтому меня отдали в один прекрасный день в школу в Брайтоне. Первые слова, с которыми ко мне обратился директор школы,—после того, как он на меня пытливо посмотрел,—были: «Какая у вас прекрасная голова». Эта подробность осталась у меня в памяти потому, что та*, которая дома с великим рвением выполняла возложенную ею на себя задачу умерять мое честолюбие, убедила меня, что мой череп*, и внешний облик вообще, принадлежат, сравнительно с другими, лишь к среднему разряду. Я надеюсь, читатель не откажется поставить мне в заслугу то, что я слепо поверил ей и втайне оплакивал скупость, проявленную создателем при моем сотворении. Не раз в позднейшие годы, когда мои английские знакомые иначе оценивали меня, чем к тому приучила меня она, меня не на шутку мучила мысль о расхождении вкусов в обеих странах.

Одно было для меня очень неожиданным в брайтонской школе: мальчики не обнаружили ни малейшей резкости или грубости в отношении ко мне. Напротив, не раз бывало, например, что они всовывали мне в карманы апельсины или яблоки и убегали. Я могу объяснить это их необычное поведение только тем, что я был иностранец.

Недолго пробыл я и в этой школе, но не по ее вине. Друг моего второго брата, Тарак Палит, жил в то время в Англии. Он понял, что мне надо идти иным путем, и добился у моего брата разрешения взять меня с собою в Лондон и поселить там, одного, в меблированных комнатах. Дом, в котором он меня поселил, выходил фасадом на Риджентс Парк. Это было глубокой зимой. На деревьях по другую сторону улицы не было ни одного листа; они лишь протягивали к небу свои иссохшие, покрытые снегом, ветви: при этом зрелище холод пронизал меня до самых костей.

Для вновь прибывшего иностранца не может быть более сурового города, чем Лондон зимой. Я не знал никого по соседству и не мог найти дороги сам. Вновь в моей жизни настали одинокие дни у окна. Но на этот раз вид, открывавшийся из окна, был мало привлекателен. Он был подобен нахмуренному лицу; небо было мутно; свет дня лишен был сияния, подобно глазу мертвеца; горизонт был узок; в окна не смотрел тот улыбающийся, гостеприимный, широкий мир, который я знал раньше. Комната была скупо меблирована, но в ней случайно была фисгармония, и, когда наступали преждевременные зимние сумерки, я обычно играл на ней, как бог на душу положит. Иногда меня навещали некоторые из живших в Лондоне индусов, и хотя я не был с ними близко знаком, но, когда они вставали, чтобы уходить, меня так и тянуло удержать их за полу сюртука.

Когда я жил в этих комнатах, ко мне стал приходить учитель латинского языка. Его худощавая фигура и поношенное платье, казалось, не лучше защищены были от зимнего холода, чем оголенные

деревья против моего окна. Я не знал в точности его возраста, но он несомненно казался старше своих лет. Иногда во время уроков он вдруг забывал какое-либо слово и рассеянно и смущенно смотрел на меня. Его домашние считали его чудаком. Он был сильно увлечен следующей теорией: он верил, что в каждую эпоху одна преобладающая идея раскрывается в человеческом обществе во всех частях света; принимая различные формы, сообразно различным ступеням цивилизации, она в основе остается неизменной; при этом она не перенимается одними человеческими группами от других, ибо помянутое единообразие обнаруживается даже и там, где отсутствуют всякие сношения. Его главной заботой было собирание и записывание фактов, подтверждающих эту теорию. Результатом было то, что его домашним не хватало пищи, его телу—одежды. Его дочери питали лишь ограниченное уважение к его теории и, повидимому, постоянно попрекали его его помешательством. Иной день по его лицу видно было, что он наткнулся на новое доказательство и что его работа соответственно подвинулась вперед. В этих случаях я заводил с ним соответствующий разговор и сам заражался его энтузиазмом. В другие дни он бывал мрачен, как бы изнемогая под бременем своей задачи. В эти дни ход нашего урока неоднократно прерывался; его взор блуждал в пустоте; дух его парил высоко над тесными сводами *Начальной Латинской Грамматики*. Я ощущал сильную симпатию к этому бедняге, истощенному тяготевшей над его душой мыслью, и, хотя у меня не было никаких иллюзий насчет успешности такого преподавания, я никак не мог решиться на то, чтобы отказать ему. Так эти фиктивные уроки продолжались все время, пока я не

переехал в другие комнаты. Накануне моего переезда я предложил ему его гонорар, но он возразил жалобно: «Я ничего не делал, я только отнимал у вас время, я не могу принять от вас платы». Лишь после долгих уговоров мне удалось в конце концов заставить его взять деньги.

Хотя мой учитель латинского языка никогда не пытался утруждать меня приведением доказательств своей теории, но я до нынешнего дня не считаю ее ложной. Я убежден, что человеческие умы объединены какой-то глубокой непрерывной средой, которая таинственно передает всякое возмущение, происходящее в какой-либо одной ее части, во все другие.

Г. Палит затем поселил меня в квартире одного профессионального репетитора, по имени Баркер, который сдавал комнаты студентам и подготовлял их к экзаменам. Если не считать его кроткой маленькой жены, то в его доме не было ничего, что могло бы притянуть на малейшую привлекательность. Пожалуй, можно себе представить, как такие учителя находят себе учеников, ибо эти бедные создания не имеют подчас выбора. Но трудно понять, при каких условиях подобному человеку удастся раздобыть себе жену. Мистрис Баркер пыталась найти утешение в маленькой собачке, но когда Баркер хотел наказать свою жену, он истязал собаку. Таким образом, ее любовь к этому несчастному животному служила для нее лишь источником новых страданий.

Неудивительно поэтому, что, когда моя невестка пригласила меня к себе в Торкэй, в Девоншайре, я был рад переменить обстановку. Я почувствовал себя невыразимо счастливым, увидев холмы, море, усеянные цветами лужайки, тенистые сосновые рощи и моих обоих маленьких неутомимых товарищей по

играм. Но иногда меня мучило недоумение: почему, когда мои глаза так насыщены красотой, когда дух исполнен радости, когда дни мои плывут по безграничной лазури неба, нагруженные беспримесным блаженством,—я не слышу призыва поэтической музыки. Памятуя о призвании поэта, я однажды отправился вдоль скалистого берега, вооруженный тетрадкой и зонтиком. Выбранное мною место было, бесспорно, очень красиво,—благо красота его не зависела от моих рифм и моей фантазии. Плоский выступ скалы как бы в вечной скорби протянулся над обрывом; спереди солнечное небо, мерно колыхаемое на пенистых волнах жидкой лазури, улыбочиво дремало под ее колыбельную песнь; а позади, под опушкой соснового бора, распростерлась тень, как соскользнувшее одеяние томной лесной нимфы. Разместившись на этом каменном троне, я написал стихотворение: *Магна Тари* (Затонувший корабль). Я склонен был бы, пожалуй, думать теперь, что оно было хорошо, если бы я благоразумно опустил его тогда в море. Но я лишен теперь этого утешения, так как оно до сих пор существует; хоть оно и не допущено в мои печатные произведения, но остается опасность, что оно все же как-нибудь окажется вдруг напечатанным.

Но вестник долга не дремал. Вновь достиг мени его голос, и я вернулся в Лондон. На этот раз я нашел себе убежище в семье д-ра Скотта. Однажды вечером я вторгся в его квартиру со всем моим багажом. Дома были только седовласый доктор, его жена и их старшая дочь. Две младшие дочери, встревоженные нашествием чужеземца из Индии, сбежали к родственникам. Они вернулись домой, кажется, лишь после того, как получили известие, что я не опасен.

В очень короткое время я сделался как бы членом их семьи. Мр-с Скотт обращалась со мной как с сыном, а искренняя доброта ее дочерей по отношению ко мне была бы необычна даже со стороны родственников.

Что меня поразило во время жизни в их семье—это то, что природа человека повсюду одна и та же. Мы склонны утверждать—и я тоже верил этому—что преданность индийской женщины своему мужу представляет собой нечто исключительное и не встречается в Европе. Но я, по крайней мере, не мог найти никакой разницы между мр-с Скотт и идеальной индийской женой. Она была всецело погружена в заботы о своем муже. Их средства были скромны, и у них отнюдь не было избытка прислуги; мр-с Скотт сама выполняла все, что ему было нужно, вплоть до мелочей. Когда ее муж должен был вернуться домой с вечерней работы, она сама ставила перед камином его кресло и войлочные туфли. Она никогда не позволила бы себе забыть на минуту об его излюбленных вещах и привычках. Со своей единственной служанкой она каждое утро обходила весь дом, от верхней светелки до кухни, и каждое утро бронзовые столбики на лестнице, дверные ручки и украшения подвергались чистке и полировке и сияли новым огнем. Помимо этих семейно-хозяйственных обязанностей, на ней лежали еще и семейно-общественные. После своих дневных трудов она с большим искусством участвовала в наших вечерних чтениях и музыкальных вечерах, ибо не последней обязанностью хорошей хозяйки является оправдание досуга, как веселья.

Иногда мы по вечерам вместе с девушками устраивали сеансы столоверчения: мы клали пальцы на маленький чайный столик, и он, подскакивая, ходил по

комнате. В конце концов дошло до того, что все, к чему мы ни прикасались, начинало дрожать и колебаться. Мр-с Скотт все это не особенно нравилось. Она иногда с серьезным видом качала головой и выражала сомнение в правильности нашего поведения. Все же она мужественно сносила все, не желая препятствовать нашим юношеским забавам. Но однажды, когда мы наложили руки на цилиндр д-ра Скотта, чтобы заставить его вертеться, она не выдержала. Она взволнованно подбежала к нам и запретила нам прикасаться к нему. Она не могла вынести мысли о том, что сатана, хотя бы на мгновение, будет иметь касательство к головному убору ее мужа.

Во всех ее действиях бросалось в глаза ее преклонение перед мужем. Память об ее изумительном самоотречении убеждает меня в том, что последнее завершение всякой женской любви—в преклонении, и что там, где этому не препятствует какая-либо внешняя причина, женская любовь естественно вырастает в обожание. Но там, где господствует изобилие роскоши и суетность омрачает дни и ночи, эта любовь вырождается, и природа женщины не созревает до радости своего совершенства.

В семье Скоттов я провел несколько месяцев. Затем моему брату пришло время возвращаться домой, и мой отец написал мне, чтобы я сопровождал его. Я был очень обрадован новой перспективой. Свет и небо моей родины молчаливо манили меня к себе. При прощании мр-с Скотт взяла мою руку и заплакала. «Зачем вы приезжали к нам», сказала она, «раз вы уезжаете так скоро?»—Теперь этой семье уже более нет в Лондоне. Одни члены семьи доктора отошли в иной мир, другие рассеяны неизвестно где. Но в моей памяти она будет жить всегда.

Однажды в зимний день, идя по улице в Танбридж-Уэллсе, я увидел человека, стоявшего на краю дороги. Через зияющие дыры его ботинок видны были голые пальцы ног, грудь его была полуобнажена. Он мне ничего не сказал, быть может потому, что нищенство было запрещено, но он на мгновение остановил на мне свой взгляд, Монета, которую я ему дал, была, должно быть, большей стоимости, чем он ожидал, ибо, когда я прошел несколько шагов, он догнал меня и со словами: «Господин, вы нечаянно дали мне золотую монету» хотел вернуть ее мне. Я, быть может, не запомнил бы этого случая, если бы не произошло другого, похожего. Когда я впервые приехал в Торкэй, носильщик отнес мой багаж к извозчику. Не найдя в кошельке мелочи, я дал ему—как раз когда извозчик тронулся—монету в пол-кроны. Через несколько минут он бегом погнался за извозчиком, крича ему, чтобы тот остановился. Я подумал, что, усмотрев во мне простачка, он нашел какой-либо повод попросить у меня больше. Когда коляска остановилась, он сказал: «Вы видно приняли пол-кроны за пенни, господин!»

Я не могу сказать, чтобы я ни разу не был обманут во время моего пребывания в Англии; но такого случая, который стоило бы запомнить—не было. Напротив, я пришел к убеждению, что только те, кто сам достоин доверия, умеют доверять. Я был иностранцем и легко мог бы во многих случаях безнаказанно избежать уплаты, но ни один лондонский лавочник не обнаруживал недоверия ко мне.

В течение всего моего пребывания в Англии я участвовал поневоле в забавной комедии, которую мне пришлось разыграть от начала до конца. Я случайно познакомился со вдовой одного умершего англо-

индийского чиновника. Она была настолько добра, что называла меня уменьшительным именем: Раби. Какой-то ее знакомый индеец написал жалобное английское стихотворение в память ее мужа. О его поэтических достоинствах и о его слоге распространяться не буду. Но на мою беду составитель его указал, что оно должно петься в ладе *бехага*. И вот однажды вдова попросила меня спеть ей его. По моей невинности и уступчивости я согласился. К несчастью, только я один мог измерить весь жестокий комизм сочетания лада *бехага* с этими нелепыми стихами. Вдова, повидимому, была очень тронута, услышав жалобную песнь индийца по ее муже, исполненную в туземной мелодии. Я думал, что на этом дело и кончится, но не тут то было.

Я часто встречался с этой вдовой в обществе, и, когда мы после обеда сидели вместе с дамами в гостиной, она обычно просила меня спеть *бехага*. Все остальные присоединялись к ее просьбе, ожидая услышать какой-то замечательный образец индийской музыки. Затем она извлекала из кармана печатные экземпляры рокового стихотворения, а мои уши уже начинали краснеть и чесаться. Наконец, когда я, опустив голову, дрожащим голосом начинал петь, я, увы, слишком ясно чувствовал, что в достаточной мере душераздирающим это пение было только для меня. Когда я кончал, подавленный смех вокруг меня заглушался хором восклицаний: «Благодарим вас!» «Как интересно!» Несмотря на зимнее время, я весь покрывался потом. Кто мог бы предсказать при моем рождении или при его смерти, каким тяжким ударом должна была отозваться на мне кончина этого почтенного англо-индийца!

Затем, когда я жил у д-ра Скотта и посещал

лекции в университетском колледже, я на время потерял эту вдову из вида. Она жила в пригородной местности на некотором расстоянии от Лондона, и, хотя я часто получал от нее письма, где она приглашала меня к себе, страх перед помянутыми концертами удерживал меня от принятия ее приглашений. В конце концов я получил от нее весьма настойчивую телеграмму. Я как раз шел в колледж, когда эта телеграмма была мне подана. В это время срок моего пребывания в Англии был уже на исходе. Я решил про себя, что перед отъездом должен раз повидаться с нею и доставлю ей сегодня это удовольствие.

Из колледжа я, вместо того, чтобы идти домой, отправился прямо на вокзал. Погода была очень скверная, было очень холодно, снежно и туманно. Станция, на которую мне предстояло взять билет, была конечной на этой железнодорожной линии. Поэтому я чувствовал себя вполне уверенным и не считал нужным наводить справки о времени прибытия.

Перроны всех станций приходились по правую руку; поэтому я уселся в угол вагона на правой его стороне и стал читать книгу. Между тем стемнело, и снаружи уже ничего нельзя было разглядеть. Один за другим пассажиры выходили на своих остановках. Мы миновали предпоследнюю станцию. Затем поезд снова остановился, но снаружи не было видно ничего, ни огней, ни платформы. Без посторонней помощи пассажир не имеет способа выяснить, почему поезд остановился в непредвиденном месте, и я, не пытаясь сделать это, вернулся к моей книге. Затем поезд стал вдруг двигаться в обратном направлении. «Кто разберется в капризах железнодорожного движения?» подумал я и снова приступил к чтению.

Но когда мы достигли предыдущей станции, я уже не мог более оставаться равнодушным. «Когда мы приедем в *?» спросил я, выйдя на перрон. «Да ведь вы оттуда едете», услышал я в ответ. «Куда же мы в таком случае направляемся?» спросил я, совершенно сбитый с толку.—«В Лондон». Затем я узнал, что это—обратный поезд. На мой вопрос, когда пойдет следующий поезд в *, я получил ответ, что сегодня вечером поездов больше не будет. В ответ на следующий мой вопрос я узнал, что на расстоянии 5 миль вокруг нет ни одной гостиницы.

Я вышел из дому после завтрака в десять часов утра и с тех пор ничего не ел. Когда воздержание от пищи является вынужденным, то вызвать в себе аскетическое настроение духа не стоит труда. Я застегнул свое теплое пальто вплоть до верху и, усевшись под лампой на перроне, продолжал читать. Книга, которую я взял с собой, была *Data of Ethics* Спенсера; она тогда недавно вышла в свет. Я утешал себя мыслью, что при других условиях я вряд ли имел бы столь удобный случай сосредоточить все свое внимание на такой теме. Спустя короткое время появился носильщик и заявил мне, что идет экстренный поезд, который прибудет на станцию через полчаса. Я был настолько обрадован этим известием, что не мог более продолжать чтение *Data of Ethics*. В месте назначения меня ожидали в семь часов, но я явился туда в девять. «Что с вами, Раби?» спросила моя хозяйка. «Как это вы так опоздали?» Я рассказал ей без особой гордости о моих изумительных приключениях. Время обеда уже прошло. Тем не менее—так как моя неудача вряд ли произошла по моей вине—я не ожидал за нее возмездия, тем более от женщины. Но единственное, что мне пред-

ложила вдова высокопоставленного англо-индийского чиновника, было: «Пойдемте, Раби, выпейте чашку чаю».

Я никогда не был особенным любителем чая, но в надежде, что это будет содействовать утолению моего голода, я проглотил чашку крепкой эссенции с парой сухих бисквитов. Когда я в конце концов попал в гостиную, я нашел там собрание пожилых дам и между ними изящного молодого американца, который был обручен с племянницей моей хозяйки и, повидимому, с усердием выполнял обычные предсвадебные обязанности.

«Теперь мы немного потанцуем», сказала моя хозяйка. Я ни по своему настроению, ни по телесному самочувствию не был расположен к подобным упражнениям. Но, как известно, смирение рождает самые невозможные подвиги. Хотя танцы были в сущности задуманы на благо обрученной парочке, мне пришлось танцевать с дамами весьма почтенного возраста, в то время как от голодной смерти меня отделял только чай с бисквитами.

Но на этом мои страдания не кончились. «Где вы остановитесь на ночь?» спросила меня моя хозяйка. К этому вопросу я не был подготовлен. Пока я с безмолвным замешательством смотрел на нее, она объяснила мне, что так как местная гостиница закроется в полночь, то мне лучше отправиться туда не откладывая. Однако нельзя сказать, чтобы с ее стороны совершенно отсутствовало гостеприимство: дабы мне не приходилось самому искать гостиницу, со мной отправили слугу, который с фонарем в руках вел меня за собой. Сначала я понадеялся на то, что это может оказаться неожиданной милостью судьбы, и, придя в гостиницу, сразу же стал разузнавать, нет ли

мяса, рыбы или растительной пищи, в горячем или холодном виде, вообще нет ли чего-нибудь поесть. Я узнал, однако, что напитков имеется большой выбор, еды же никакой. Тогда я попытался найти забвение во сне, но, увы, в его мирообъемлющем лоне не оказалось для меня места. В комнате, с ее песчаным полом, царил ледяной холод; единственным убранством ее были старая кровать и полуразвалившийся умывальник.

Утром англо-индийская вдова прислала мне приглашение к завтраку. Завтрак был холодный,—очевидно остаток вчерашнего обеда. Если бы небольшая порция этого завтрака, тепловатая или даже холодная, предложена мне была вчера вечером, это не принесло бы никому ущерба, но зато мои танцы, должно быть, не так напоминали бы предсмертные судороги выброшенного на берег карпа.

После завтрака моя хозяйка объявила мне, что та дама, для услаждения слуха которой я был приглашен, теперь как раз больна и что я должен пропеть ей свою песню, стоя перед дверью ее спальни. Она привела меня на площадку лестницы и, указав на закрытую дверь, сказала: «Вот где она». Я исполнил свою *бехагу* перед лицом неведомой тайны по ту сторону двери. О том, как это отозвалось на состоянии больной, я не узнал и по сию пору.

После моего возвращения в Лондон мне пришлось расплачиваться в постели за мою безрассудную любезность.

Дочери д-ра Скотта умоляли меня не принимать этого всерьез за образец английского гостеприимства. Они утверждали, что это плод действия индийской соли.

26. ЛОКЕН ПАЛИТ

Когда я посещал лекции по английской литературе в университетском колледже, Локен* Палит был моим товарищем. Он был года на четыре моложе меня. Теперь, когда я пишу эти воспоминания, разница в четыре года уж не ощутительна. Но дружбе нелегко перекинуть мост через промежуток между тринадцатью и семнадцатью годами. Не отягчаемый бременем лет, мальчик всегда стремится соблюдать степенность, свойственную старшему возрасту. Но это не мешало мне в дружбе с Локеном, так как я не замечал ни в чем, что он моложе меня.

Учащиеся юноши и девушки совместно занимались в библиотеке колледжа. Здесь мы с ним встречались. Если бы мы вели себя в это время спокойно, никто не мог бы на нас пожаловаться. Но мой молодой друг в таком изобилии обладал хорошим расположением духа, что при малейшем поводе раздражался смехом. Во всех странах девочкам присуще чрезмерное прилежание в занятиях, и я чувствую угрызения совести, когда вспоминаю о множестве гневных голубых глаз, которые—увы! напрасно—осыпали молниеносными упреками наше беззаботное веселье. Но в те дни я не испытывал ни малейшего сочувствия к горестям оскорбленного прилежания. По милости провидения я никогда не знал ни головной боли, ни угрызений совести из-за какого-либо перерыва в учебных занятиях.

Несмотря на это почти беспрестанное сопровождение смеха, нам удавалось все же вести и литературные дискуссии, и, хотя начитанность Локена в бенгальской литературе была менее обширна, чем моя, он возмещал это своей проницательностью и остроумием. Среди

многих других тем мы обсуждали также проблему бенгальского правописания.

Заговорили мы об этом вот по какому поводу. Одна из дочерей доктора Скотта хотела, чтобы я учил ее бенгальскому языку. Когда я показывал ей бенгальский алфавит, я выразил мою гордость по поводу добросовестности бенгальской системы правописания, которая не находит удовольствия, как английская, в поминутном уклонении от своих же правил. Я объяснял ей, насколько смешны были бы капризы английского правописания, если бы над нами не тяготела печальная обязанность набивать ими свои головы для экзаменов. Но моему самолюбию нанесен был жестокий удар, ибо в конце концов выяснилось, что бенгальское правописание столь же своевольно, как и английское, и что лишь вследствие привычки я не замечал его непоследовательности.

Тогда я принялся за поиски законов, управляющих его неправильностями. Я был поистине поражен размерами той помощи, которую мне оказал в этом Локен.

Впоследствии Локен поступил на индийскую гражданскую службу и возвратился на родину; общение, начавшееся в дни наших веселых встреч в университетской библиотеке, потекло широкой рекой. Пылкая любовь Локена к литературе попутным ветром наполнила паруса моих ранних литературных исканий. Когда я в зрелую пору своей юности в громадном количестве производил прозу и стихи, моя энергия непрерывно поддерживалась постоянным одобрением и признанием со стороны Локена. Много необычайных выходов в стихах и прозе предпринято было мною во время пребывания на его загородной даче. Нераз наши музыкальные и поэтические собрания начинались

под лучом вечерней звезды и кончались, подобно светильникам, задуваемым утренним ветерком, после восхода утренней звезды.

Среди множества цветов у ног Сарасвати — цветок дружбы должен быть ей милее всех. Не много золотой пыльцы нашел я среди ее лотосов*, но не могу пожаловаться на недостаток сладкого аромата дружбы.

27. «РАЗБИТОЕ СЕРДЦЕ»

Еще будучи в Англии я начал писать другую поэму, которую я продолжал во время путешествия и закончил по возвращении домой. Она была напечатана под названием *Багна Хридай* (Разбитое сердце). В то время я считал ее хорошей. Не было ничего удивительного в том, что так думал ее автор; но она понравилась и читателям. Я вспоминаю, что после ее опубликования главный министр покойного раджи Трипуры навестил меня исключительно с целью передать мне послание о том, что раджа очень высокого мнения о поэме и возлагает большие надежды на поэтическое будущее ее автора.

По поводу этой поэмы, написанной мною в восемнадцатилетнем возрасте, я приведу здесь отрывок из письма, которое я писал двенадцать лет спустя:

«Я начал писать *Багна Хридай* восемнадцати лет — ни ребенком, ни юношей. Этот пограничный возраст не озаряется непосредственно лучами истины; лишь их отражение играет там и сям, остальное же погружено во мрак. И, подобно утренним или вечерним теням, его вымыслы вытянуты в длину и неопределенны; действительный мир заменяется в них фантастическим. Любопытно, что не только мне было восемнадцать лет, но и все окружающие казались мне также восемнадцатилетними, и все мы порхали в том же самом поверхностном, бессущностном мире вымысла, в котором даже вели-

чайшие радости и печали подобны были ощущениям жителей страны снов. Не было ничего, что могло бы служить противовесом этим фантазиям, и потому тривиальность заменяла в них величие».

Этот период моей жизни, от 15—16 до 22—23 лет, был чрезвычайно хаотичен.

Когда в ранние эпохи жизни Земли суша и вода еще не были вполне отделены друг от друга, громадные, безобразные амфибии блуждали по бесствольным лесам, выраставшим из топкой, болотистой почвы. Так и желания сумеречных годов незрелого духа, столь же нескладные и неуклюже сложенные, бродят по нескончаемым бездорожьям его безымянных тенистых дебрей. Они не знают ни себя, ни цели своих странствий и поэтому всегда склонны к подражательности. Так и в этом возрасте бессмысленно-кипучей активности, когда мои неразвившиеся силы, несоразмерные реальности, в бурном соревновании искали выхода, каждая из них пыталась утвердить свое превосходство посредством самопреувеличения.

Когда молочные зубы пытаются проложить себе выход, их работа вызывает у ребенка жар. И все это возбуждение находит себе оправдание лишь тогда, когда зубы уже прорезались и начали свое содействие пищеварению. Так и наши юношеские желания терзают наш дух подобно болезни, пока они не осознают своего истинного отношения к внешнему миру.

Поучения, которые я извлек из своего опыта в ту пору жизни, могут быть найдены в любом учебнике морали, но из этого не следует, что они заслуживают пренебрежения. Замыкая наши вожеления внутри себя и не давая им свободного доступа к внешнему миру, мы отравляем свою жизнь. Себялюбие не допускает свободной игры наших желаний, не дает им

достигнуть их истинных целей: вот почему оно всегда узнается по гнойникам лжи и излишеств. Когда же наши желания обретают безграничную свободу в благом делании, они отрясают свои немощи и возвращаются к своей истинной природе, к истинным своим целям и к истинной своей радости.

Описанное мною состояние моего незрелого духа поощрялось примером и воззрениями того времени, и возможно, что его влияние сказывается еще и по сию пору. Когда я вспоминаю об этом периоде, меня поражает, что действие английской литературы на нас было скорее возбуждающим, чем укрепляющим. Нашими литературными богами были тогда Шекспир, Мильтон и Байрон, и что больше всего действовало на нас тогда в их поэзии—была сила страсти. В семейной и общественной жизни англичан все проявления страсти сдерживаются суровой дисциплиной, но именно поэтому, быть может, страсть господствует в их литературе, для которой характерны изображения необычайно пылких эмоций вплоть до катастрофических роковых вспышек. В конце концов мы стали считать это неудержное возбуждение страсти за квинт-эссенцию английской литературы.

Пылкая декламация английских стихов Акшаем Чаудури, который впервые посвятил нас в английскую литературу, полна была какого-то дикого опьянения. Безумная любовь Ромео и Джульетты, ярость беспомощных lamentаций Короля Лира, всепожирающий огонь ревности у Отелло—вот что вызывало наш энтузиазм и преклонение. В тесноту нашей общественной жизни, в узкую сферу нашей деятельности, пропитанную монотонным однообразием, бурные чувства не находили доступа: все было настолько тихо и спокойно, насколько это вообще возможно. Есте-

ственно поэтому, что наши сердца жаждали того живительного потрясения страсти, которое и принесла с собой английская литература. Нам не свойственно было эстетическое наслаждение литературой, как искусством; точно застоявшиеся воды, приветствовали мы бурную волну, невзирая на тот ил, который она поднимет со дна.

Литература времени Шекспира представляет собой военный танец наступившего тогда в Европе ренессанса, со всею стремительностью его реакции против беспощадного принижения и стеснения человеческого духа. Установление критериев добра и зла, красоты и безобразия не было тогда главной целью; человек был, повидимому, охвачен стремлением проложить себе путь, через все преграды, к глубочайшему святилищу своего собственного существа, дабы отыскать в нем последний образ своего бурного вожделения. Вот почему этой литературе присуща такая острая, такая пышная, такая необузданная выразительность.

Этот буйный, вакхический дух Европы нашел себе тогда доступ в наше чинное и замкнутое общество, пробудил нас и влил в нас новую жизнь. Мы были ослеплены сиянием буйной жизненности, озарившей наши сердца, задыхавшиеся в рутине нашего быта и лишь ждавшие внешнего толчка, чтобы раскрыться.

Был еще один такой день в английской литературе, когда медлительное шествие поповских размеров сменилось буйными размерами французской революции. Ее поэтом был Байрон. И стремительность его страсти также взволновала наше сердце-невесту в тишине ее уединения.

Так возбуждение, господствующее в английской

литературе, овладело молодежью нашего времени; его волны вздымались вокруг меня неустанно со всех сторон. Первое пробуждение — это время для игры сил, а не для их подавления.

И все ж наше положение было столь отлично от положения в Европе! Там дух возбуждения и мятежа был литературным преломлением истории. Выражение там соответствовало чувству. Вой бури слышен был потому, что и в самом деле была буря. Но то, донесшееся до нас дуновение, которое взбудоражило наш маленький мирок, в нашей действительности прозвучало едва ли громче, чем шопот. Поэтому оно и не удовлетворило нас, и наши попытки подражания порывам урагана вели нас к фальши и преувеличениям, — каковая склонность существует у нас и поныне и может оказаться трудно-излечимой.

Причиной этого является тот факт, что английской литературе еще не ведома сдержанность подлинного искусства. Человеческие эмоции — лишь один из элементов литературы, но не ее цель; цель же — в красоте совершенной полноты, заключающейся в простоте и самоограничении. Этого принципа английская литература до настоящего времени безоговорочно еще не признает.

С детства до старости мы воспитываемся только на этой английской литературе. Других европейских литератур, — как классических, так и современных, — художественная форма которых свидетельствует о богатом развитии, основанном на культуре самообладания, мы не изучаем, и именно поэтому, как мне кажется, мы все не можем дойти до правильного понимания истинных целей и методов литературы.

Акшай Бабу, который пробудил в нас страсть к английской литературе, и сам был сторонником эмо-

циональной жизни. Ему представлялось не столь существенным постижение истины в полноте ее совершенства, сколько ощущение ее в сердце. Он не знал интеллектуального преклонения перед религией, но песни о *Шьяме* (Темной Матери) вызывали у него слезы. Его не влекло к исканию последней истины; все, что способно было его взволновать, было для него на время истиной, как бы оно ни было частично.

Атеизм господствовал в модной тогда английской прозе, — излюбленными авторами были Бентам, Милль и Конт. Они мыслили в терминах, которые были переняты нашей молодежью. Эпоха Милля естественным образом укладывается в английскую историю. Она представляет собою здоровую реакцию общества против скопившегося в его недрах идейного хлама, от которого оно стремится избавиться посредством временного введения в себя этих разрушительных снадобий. Мы получили их рецепт, но никогда не пытались извлечь из них практическую пользу, а употребляли их только как средство, возбуждавшее нас к моральному возмущению. Так атеизм был для нас только своего рода опьянятельным напитком.

Вследствие этого наши образованные люди разделялись в большинстве на два класса. Одни из всех сил и на каждом шагу приводили всевозможные аргументы для ниспровержения всякой веры в бога. Подобно охотнику, у которого чешутся руки, пока он не высмотрит какого-либо живого существа на вершине или у подножия дерева, чтобы убить его, так и они, как только узнавали о какой-либо безобидной форме веры, прячущейся где-либо в воображаемой безопасности, чувствовали сильнейшее побуждение немедленно искоренить ее. У нас одно время был учитель, для которого это было излюбленной забавой.

Я был тогда еще мальчиком, но и я не мог избежать его нападений. Не то, чтобы его успехи были хоть сколько-нибудь ощутительны; не то, чтобы его мнения были плодом ревностного искания истины, — они были большею частью перепевами чужого. Но хотя я сопротивлялся ему изо всех сил, при значительном неравенстве в годах, я не раз терпел жестокое поражение. Подчас я чувствовал себя настолько уязвленным, что почти готов был кричать.

Другой класс состоял не из верующих, но из эпикурейцев в религии: им доставляло утешение и отраду собираться и погружаться в изобилие услаждающих образов, звуков и запахов, под предлогом исполнения религиозных церемоний; они наслаждались, роскошествуя во внешних аксессуарах культа. Ни в одном из этих классов сомнение или отрицание не было плодом внутренней работы или исканий.

Хотя эти религиозные заблуждения и причиняли мне боль, я не могу сказать, чтобы я вполне избег их влияния. Интеллектуальное бесстыдство, свойственное пробуждающейся юности, не могло не привести к объявлению мятежа и в этой области. Я не хотел иметь ничего общего с религиозными службами, которые исполнялись в нашей семье, я не считал их своими. Я раздувал в себе огонь мехами своих эмоций; то было голое почитание огня; подношения ему шли только на увеличение его пламени, безо всякой другой цели. Но именно вследствие своей бесцельности мои усилия не имели и меры, всегда переходя за поставленные им пределы.

Как в религии, так и в моих эмоциях я не ощущал влечения к какой-либо объективной истине: мое возбуждение было для меня самоцелью. Я вспоминаю отрывок стихотворения одного поэта тех дней:

Мое сердце—мое
Я не продал его никому;
Будь оно разодрано и истощено,—
Мое сердце—мое!

С объективной точки зрения сердце не должно во все мучить себя так, ибо ничто не вынуждает его раздираться на клочья. В действительности боль не желательна, но, если отделить от нее ее едкую остроту, она может показаться благоухающей. Это благоухание наши поэты часто ставили выше всего, забывая о том боге, которому они служили. От этого ребячества нашей стране и доньше еще не удалось избавиться. Даже теперь, когда мы не в состоянии видеть истину в религии, мы ищем в сохранении обрядности художественное наслаждение. Так и в нашем патриотизме многое есть не служение родине-матери, а лишь самоуслаждение.

28. ЕВРОПЕЙСКАЯ МУЗЫКА

Когда я жил в Брайтоне, я как-то пошел послушать одну примадонну, имя которой я забыл: ее звали не то Madame Нильссон, не то Madame Альбани. Я никогда до тех пор не видел такого изумительного владения голосовыми средствами. У нас даже лучшие певцы, в известных случаях, не умели скрыть от слушателей своего напряжения; у нас не считается также зазорным по мере сил издавать звуки, расположенные выше или ниже диапазона певца. В нашей стране понимающая часть слушателей не видит ничего худого в том, чтобы силой своего воображения поднять музыкальное исполнение до высшего уровня. По той же самой причине они не считают за дефект случайную хриплость голоса или неуклюжесть в жестикуляции при испол-

нении прекрасной мелодии; напротив, они иногда, повидимому, держатся того мнения, что такие мелкие недочеты лишь лучше выделяют внутренние достоинства композиции, как нищенская внешность великого Аскета Махадевы, божественность которого сияет в его наготе.

Такие взгляды, повидимому, совершенно чужды Европе. В Европе требуется совершенство внешней отделки во всех деталях; малейший недочет объявляется постыдным и не в силах выносить взора толпы. В наших музыкальных собраниях считается вполне допустимым, например, потратить полчаса на настройку *танпур* или барабанов, больших и малых. В Европе подобные вещи делаются заранее за сценой; все, что делается на эстраде, должно быть безупречно. Поэтому не допускаются и никакие дефекты в голосе певца. В нашей стране правильное и художественное исполнение мелодии является главной целью, на которой и сосредоточиваются все усилия. В Европе культивируется голос, и голос совершает чудеса. В нашей стране виртуоз доволен, если он слышал песню; в Европе же идут слушать певца.

Вот что я понял в тот день в Брайтоне. Для меня тот концерт был равносителен цирковому представлению. И сколь ни поражало меня искусство певицы, — достоинств самой мелодии я оценить не мог. Я с трудом удерживался от смеха, когда услышал в некоторых каденциях подражание пению птиц. Я все время ясно чувствовал, что это — неправильное применение человеческого голоса. Когда выступил после певицы певец, я почувствовал значительное облегчение. Я в особенности предпочитал тенор, в котором было больше человеческой плоти и крови и меньше бестелесных жалоб одинокого привидения.

После этого, по мере того как я слушал и узнавал европейскую музыку, я начал постепенно проникать в ее дух; но я и по сию пору убежден в том, что индийская и европейская музыка представляют совершенно независимые друг от друга по ценности явления и что доступ в человеческое сердце они находят совершенно разными путями.

Европейская музыка представляется мне тесно сплетенной с материальной жизнью; тексты ее песен могут быть столь же разнообразны, как самая эта жизнь. Но если мы попытаемся так же разнообразить применение наших мелодий, они потеряют свое значение и сделаются смешными; ибо наши мелодии переступают пределы повседневной жизни и только в силу этого способны увлекать нас в глубины Сострадания или на вершины Отрешенности; их назначение — раскрывать картину сокровенных, несказанных глубин нашего существа, где, быть может, аскет найдет свой скит или даже эпикуреец — обитель нег, но где нет места для шума будней.

Я не берусь утверждать, что я получил доступ к душе европейской музыки. Но то немногое, что мне удалось понять извне, казалось мне очень привлекательным потому, что она представлялась мне столь романтической. Быть может, нелегко будет объяснить, что я подразумеваю здесь под этим словом. Я указал бы, пожалуй, на ее аспект разнообразия, изобилия, на играющие в ней волны жизненного моря, на ее вечную смену света и тени в непрерывном движении. Есть в ней и противоположный аспект — чистого протяжения, незатемненной лазури неба, молчаливый намек на безмерность в отдаленном круге горизонта. Как бы то ни было, я позволю себе повторить, рискуя выразиться не вполне ясно, что каждый раз, когда я

бывал под впечатлением европейской музыки, я говорил себе: она романтична, она переводит на язык мелодии мимолетность жизни.

Не то чтобы у нас совершенно отсутствовали подобные же тенденции в некоторых видах музыки; но они менее явны, менее успешны. Наши мелодии дают голос звездной ночи, первым проблескам зари. Они говорят о пронизывающей небеса скорби, что хмурится темными облаками; о безмолвном, глубоком хмеле лесной весны.

29. VÂLMÎKI PRATIBHÂ

У нас был обильно иллюстрированный том Irish Melodies Мура, и часто мы внимали восторженному чтению их Акшаем Бабу. Из песен и иллюстраций выросла в моей голове фантастическая картина старинной Ирландии. Я тогда еще не знал настоящих ирландских мелодий, а пел их себе по своему под аккомпанимент изображенных на иллюстрациях арф. Мне очень хотелось узнать настоящие мелодии, выучить их и петь их Акшаю Бабу. Некоторые из наших стремлений, к несчастью, осуществляются в этой жизни, и умирают во время осуществления. Когда я был в Англии, я услышал исполнение некоторых ирландских мелодий и выучил даже некоторые из них, но это отбило у меня всякий интерес к ним. Они были просты, печальны и сладкозвучны, но как они были непохожи на молчаливую мелодию арф, наполнявшую чертоги старой Ирландии моих грез!

Когда я вернулся домой, я пропел выученные мною ирландские мелодии моим домашним. «Что это случилось с голосом Раби?» восклицали они. «Как

смешно и чуждо он звучит!» Они даже заметили, что как-то изменился тон моего голоса и в разговоре.

Из совместного культивирования чужой и местной музыки возникла музыкальная драма *Vâlmîki Pratibhâ*. Мелодии в ней были по большей части индийские, но с них совлечено было облачение их классического величия; привыкшие парить в небесах, они здесь обучены были хождению по земле.

Те, кто видел и слышал исполнение, признают, я надеюсь, что приспособление индийских мелодических ладов к драме не было ни унижительно, ни бесплодно. Это своеобразное сочетание—единственная отличительная черта *Vâlmîki Pratibhâ*. Я был совершенно поглощен приятной задачей: освобождения мелодических форм от их оков и принорования их к неведомой им ранее разнообразной трактовке.

К некоторым из песен *Vâlmîki Pratibhâ* были приурочены мелодии строго классического лада; к другим мелодии были сочинены моим братом Джьотириной; некоторые были заимствованы из европейских источников. В индийской музыке лад, называемый *телена*, особенно легко применим для драматических целей и потому часто встречается в этом произведении. Две английских мелодии взяты были для песен разбойников, а ирландская мелодия—для жалоб лесных нимф.

Vâlmîki Pratibhâ написана не для чтения; вне музыкального и драматического исполнения она лишена значения. Это не то, что в Европе называется оперой; это—маленькая драма, переложенная на музыку. Иначе говоря, первоначально—это не музыкальное произведение. Лишь немногие из песен значительны и привлекательны сами по себе; они все имеют смысл лишь в качестве музыкального текста пьесы.

Перед моей поездкой в Англию мы иногда устраивали в нашем доме собрания писателей; в программу входили: музыка, декламация и легкое угощение. После моего возвращения состоялось еще одно такое собрание, которое случайно оказалось последним. Для развлечения этих наших гостей и была написана *Vālmīki Pratibhā*. Я играл роль Вальмики, а моя племянница Пратиба—роль Сарасвати; последнее обстоятельство запечатлено в названии драмы.

Я прочел в каком-то сочинении Герберта Спенсера, что человеческая речь становится мелодической под влиянием эмоции. Бесспорно, что тон или мелодия столь же важны, как слово, для выражения гнева, печали, радости и изумления. Мне понравилась идея Спенсера о том, что человек создал музыку через развитие этих эмоциональных изменений голоса. Почему невозможно, говорил я тогда себе, исполнять драму своего рода речитативом, основанным на этой идее?

Народные сказители (*катака*) в нашей стране до известной степени поступают подобным образом, ибо они часто переходят от обыкновенного рассказа к пению, которому, однако, недостает полноты мелодической формы. Как белые стихи более эластичны, чем рифмованные, так и этого рода пение, хотя и не во все лишенное ритма, будет давать более гибкую эмоциональную интерпретацию тексту, ибо оно не будет связано строгим распорядком, присущим обыкновенной мелодической композиции. Выразительность будет главной целью, а несовершенства формы не будут резать уши слушателям.

Ободренный успехом этого нового направления, принятого мною в *Vālmīki Pratibhā*, я сочинил еще одну музыкальную пьесу в том же роде. Она называлась

Kāl Mrigayā (Роковая Погоня). Фабула ее была основана на легенде о нечаянном убийстве единственного сына слепого отшельника царем Дашаратой. Она была разыграна на эстраде, устроенной на террасе нашей крыши, и зрители были, повидимому, сильно тронуты ее пафосом. Впоследствии значительная часть ее текста с легкими изменениями включена была в *Vālmīki Pratibhā*, а *Kāl Mrigayā* уже больше не печаталась в моих сочинениях как отдельное произведение.

Много лет спустя я сочинил третью музыкальную пьесу, *Mâyār Khelā* (Игра Майи), оперетту иного типа, чем помянутые. В ней первую роль играло пение, а не сама драма. Там ряд драматических ситуаций на низан был на нить мелодии; здесь же через гирлянду песен вилась тонкая ниточка драматического сюжета. Ее отличительной чертой была игра чувств, а не драматическое действие. И в самом деле, во время ее сочинения я был совершенно напоен песенным духом.

Того энтузиазма, с которым я сочинял *Vālmīki Pratibhā* и *Kāl Mrigayā*, я не испытывал ни разу при писании других произведений. В обеих этих пьесах выразился творческий музыкальный импульс того времени.

Мой брат Джьотириндра целый день сидел за роялем, на все лады переделывая классические мелодии. И при каждом ударе по клавишам эти старинные песни принимали новые формы и выражали новые оттенки чувства. Мелодии эти, до того знавшие только свою старинную, степенную поступь, под его руками шли непривычно оживленным шагом, обнаруживая неожиданную подвижность и силу, и соответственным образом трогали нас. Мы ясно слышали, как эти мелодии говорили с нами, в то время как я и Акшай Бабу сидели по обе стороны, подбирая слова

к ним по мере того, как они выросли из-под проворных пальцев моего брата. Я не сказал бы, что наше либретто было подлинной поэзией, но оно служило как бы носителем этих мелодий.

В бурной радости этих революционных начинаний сочинены были мною эти две музыкальные пьесы; и они заплясали весело под свои размеры, правильные и неправильные, родные и чужие.

Бенгальские читатели неоднократно бывали задеты моими взглядами или литературными опытами, но любопытно, что мое дерзкое непочтение к установившимся музыкальным приемам не вызвало никакого протеста; напротив, те, что приходили, уходили довольными. В *Vâlmiki Pratibhâ* было включено несколько композиций Акшая Бабу, а также несколько слегка переработанных песен из составленного Бихари Чакрабартти песенника *Шарад Мангаль*.

Я обычно играл руководящую роль в исполнении этих музыкальных драм. У меня с детства была склонность к сцене, и я твердо верил, что у меня есть актерские способности. Мне, кажется, удалось доказать, что я не ошибался. До того я лишь однажды исполнял роль Алика Бабу в комедии, написанной моим братом Джьотириндрой. В моих музыкальных драмах я в сущности впервые выступил на сцене по-настоящему. Я был тогда очень молод, и ничто, казалось, не могло утомить или ослабить мой голос.

В те дни в нашем доме целыми днями лился каскад музыкальных упоений, и его брызжущие струи отражались в наших душах всеми цветами радуги. И со всею свежестью юности наши младенческие силы, окрыляемые девственной любознательностью, проби-вали новые пути по всем направлениям. Нам хотелось испробовать и испытать все; не было ничего, что

казалось бы невозможным. Мы сочиняли, пели, играли, мы изливались во все стороны. Так вступил я в двадцатый год моей жизни.

Вдохновителем этих сил, так триумфально состоявшихся в течение всей нашей жизни, был мой брат Джьотириндра. Он был совершенно бесстрашен. Однажды, когда я был еще только мальчиком и никогда до того не ездил верхом, он посадил меня на лошадь, сел сам и погнал обеих лошадей галопом, совершенно не заботясь о своем неопытном спутнике. Затем раз, приблизительно в те же годы, когда мы жили в Шилейде (нашем главном имении), до нас дошла весть о появлении тигра, и мой брат взял меня с собой на охоту. У меня не было с собой ружья: в моих руках оно было бы опаснее для меня, чем для тигра. Мы оставили нашу обувь на опушке леса и вошли в него босиком. Наконец, мы добрались до бамбуковой кущи, шиповидные ветви которой были частью обглоданы, и заползли в нее; брат выполнил свое намерение, в то время как я, съежась, спрятался за его спиной: ведь я не мог бы даже нанести удар каблуком невоспитанному зверю, если бы он осмелился броситься на меня!

Так мой брат предоставлял мне полную свободу, внутреннюю и внешнюю, перед лицом всех опасностей. Его не останавливали никакие установившиеся привычки или обычаи; так ему удалось постепенно освободить меня от моих сомнений и робости.

30. «ВЕЧЕРНИЕ ПЕСНИ»

В пору моей самопогруженности, о которой я говорил, я написал ряд стихотворений, которые были сгруппированы под названием *Пустынь Сердца* в сборнике

моих произведений, изданном Мохита Бабу. В одном из них, сначала напечатанном в сборнике, называвшемся *Утренние Песни*, встречаются следующие строки:

Есть великая пустыня, чье имя—сердце,
Где сплетшиеся ветви деревьев лелеют и качают мрак, как
дитя.
В ее глубях потерял я дорогу.

Из них-то и заимствовано название помянутой группы стихотворений.

Многое из того, что мною было написано, когда моя жизнь текла в стороне от внешнего мира, когда я был погружен в созерцание своего собственного сердца, когда создания моей фантазии в различных обликах блуждали среди беспричинных эмоций и бесцельных томлений, не было перепечатано в этом издании; лишь немногие из стихов, первоначально входивших в сборник *Вечерние Песни*, нашли место в серии *Пустынь Сердца*.

Мой брат Джьотириндра и его жена уехали в продолжительное путешествие, и их комнаты в третьем этаже, выходящие на плоскую крышу, остались пустыми. Я принял во владение комнаты и террасу и проводил дни в одиночестве. Так, оставленный наедине с самим собою, я—не знаю как—выскочил из той поэтической колеи, по которой я катился. Быть может, это произошло потому, что, будучи отрезан от тех, кому я старался нравиться и чей поэтический вкус определял мою форму выражения, я естественным образом освободился от навязанного ими мне стиля.

Я начал пользоваться грифельной доской для моих поэтических опытов. Это также содействовало моей

эмансипации. Те тетради, которые я предпочитал раньше, требовали, казалось, известного уровня поэтического парения, достижимого только на основе соревнования с другими авторами. Доска же была точно предназначена для минутных капризов поэтического вдохновения. «Не бойся,—казалось, говорила она.—Пиши все, что тебе вздумается; один взмах—и все смыто!»

Когда я написал, освобожденный, несколько стихотворений, я ощутил волнение радости. «Наконец-то,—сказало мое сердце,—то, что я пишу—моя собственность!» Пусть не примут этого за проявление гордости. Скорее я был горд моими прежними писаниями, в чем и заключалась вся дань, которою я обязан был перед ними. Но нельзя смешивать самоосуществления с самодовольством. Если родители радуются своему первому ребенку, то это вызвано не тем, что они гордятся чем-либо в его внешности, а тем, что он—их собственный. Если он окажется необычным ребенком, то они и этому будут рады, но то будет радость другая.

Охваченный первым приливом той радости, я не обращал особого внимания на метрические формы, и как река не течет прямо, а прихотливо извивается, так текли и мои стихи. Раньше я счел бы это за преступление, но тут я не чувствовал никаких угрызений совести. Свобода сперва ломает закон, а затем творит законы, которые подчиняют ее истинной самозаконности.

Единственным слушателем этих моих вольных стихов был Акшай Бабу. Когда он услышал их в первый раз, они ему показались странными, но понравились. Его одобрение расширило мой путь к свободе.

Поэмы Бихари Чакрабарты были в трехстопном размере. Этот троичный размер имеет закругленный характер, в противоположность прямоугольным, крат-

ным 2. Он катится легко, он скользит словно в пляске под позвякивание запястий. Некогда я очень любил этот размер. Он напоминал скорее езду на велосипеде, чем ходьбу. И я привык к его шагу. В *Вечерних Песнях* я, сам того не замечая, порвал с этим обычаем. Но я не свывывал себя и другими определенными размерами. Я чувствовал себя совершенно свободным и беспечным. Я не ожидал и не опасался выговора с чьей-либо стороны.

Та сила, которую я обрел в этой свободе от оков традиции, показала мне, что я напрасно искал в стороне то, что было во мне. Лишь недостаток веры в себя мешал мне найти себя. Я как бы восстал от оков приснившейся мне неволи, чтобы увидеть себя раскрепощенным. Я делал самые головокрумные прыжки лишь для того, чтобы убедиться, что ничто не стесняет свободы моих движений.

Для меня это наиболее достопамятный период моего поэтического развития. Как поэзия, мои *Вечерние Песни*, быть может, и не стоили многого; они достаточно незрелы. Ни их размеры, ни язык, ни мысли не приняли законченной формы. У них лишь одно достоинство: в них я впервые выразил то, что я действительно думал, так, как мне нравилось. Пусть они теперь потеряли свою ценность—тогда они ее для меня имели.

31. ОПЫТ О МУЗЫКЕ

Я собирался приступить к изучению юриспруденции, когда мой отец вызвал меня из Англии домой. Некоторые из моих друзей, озабоченные этим срывом моей карьеры, настаивали, чтобы он опять отправил меня в Англию. В результате я вторично поехал в Англию,

на этот раз в сопровождении одного родственника. Но моя судьба настолько твердо решила не допускать меня в правоведы, что на этот раз я даже не добрался до Англии. По некоторой причине нам пришлось покинуть корабль в Мадрасе и вернуться в Калькатту. Причина была гораздо менее серьезна, чем результат, но так как повинен был в этом несоответствии не я, то я умолчу о ней здесь. Итак, из обоих начатых мною паломничеств к святилищу Лакшми я возвращался отвергнутым. Но я надеюсь, что по крайней мере бог правосудия удостоит меня милости за то, что я не увеличил собою число его непризванных служителей.

Мой отец в то время жил в горах Мосури. Я в страхе и трепете ожидал свидания с ним. Но он ничуть не рассердился, увидев меня,—скорее даже он был доволен. Он, должно быть, видел в моем возвращении милость божественного провидения.

Вечером накануне моего отъезда в это путешествие я, по приглашению Bethune Society, прочел доклад в зале Medice College'a. Это было моим первым публичным выступлением. Председательствовал преподобный К. М. Банерджи. Тема была — Музыка. Оставив без рассмотрения инструментальную музыку, я пытался доказать, что главная цель вокальной музыки в том, чтобы лучше выразить то, что стремится выразить слово. Впрочем, самый текст доклада был весьма краток. Я почти непрерывно исполнял разные песни для иллюстрации моей темы. Единственным основанием для той лестной похвалы, которой удостоил меня председатель по окончании моего доклада, было, вероятно, действие, оказанное на слушателей моим юным голосом и искренностью и разнообразием моего исполнения. Но я должен признаться теперь, что

мнение, которое я отстаивал с таким энтузиазмом в тот вечер, было ложно.

Вокальная музыка, как искусство, имеет свои особые задачи и свойства. И если она случайно переложена на слова, то последние не должны зазнаваться и вытеснять ту мелодию, которой они служат всего лишь носителями. Песня богата своим собственным достоинством; что же ей может дать слово? Напротив, она там-то и вступает в свои права, где слова оказываются бессильными. Ее сила — в сфере невыразимого; она говорит нам то, чего не могут сказать слова.

Чем менее песня обременена словами, тем лучше. В классическом стиле Индостана* слова не имеют значения и предоставляют мелодии воздействовать на слушателя совершенно независимо от них. Вокальная музыка тогда достигает совершенства, когда мелодическая форма получает возможность свободно развиваться и уводить за собой наше сознание в свою собственную чудесную обитель. Но в Бенгалии слова никогда не теряют самостоятельности, почему наша песня и не раскрыла всех заложенных в ней музыкальных возможностей, удовлетворяясь ролью служанки своей сестры — поэзии. Начиная со старинных вайшнавитских песен и кончая песнями Ниду Бабу, ее очарование всегда оставалось очарованием заднего фона. Но как в нашей стране жена обретает власть над мужем путем признания своей от него зависимости, так и наша музыка, будучи внешне лишь сопровождением поэзии, в конце концов приобретает власть над нею.

Я часто ощущал это, когда сочинял свои песни. Когда я, напевая про себя мелодию, написал ниже следующие строки:

Не держи свою тайну про себя, любовь моя,
Шепни ее тихо мне, только мне!—

я почувствовал, что одни слова не в силах были бы достичь той области, в которую их уносит мелодия. Мелодия поведала мне, что тайна, которую я нескромно подслушал, сплетена с зеленой думою лесных прогалин, облечена молчаливой белизною лунных ночей, сквозит под покрывалом безграничной лазури за горизонтом и что она же — единая задушевная тайна Земли, Неба и Вод.

В раннем отрочестве я как-то услышал обрывок песни:

Я знаю тебя, о женщина из неведомой страны!
Твоя обитель за Морем.

Если бы во мне не звучала та песня, я не знаю, какой облик приняла бы остальная часть стихотворения; но волшебство ее мелодии открыло мне странницу во всей ее прелести. Это та, сказала моя душа, что приходит и уходит вестницей этому миру с того берега океана тайны. Это та, чей облик вдали мы временами ловим росистыми утрами Осени, благоуханными ночами Весны — в сокровеннейших глубинах наших сердец, — иногда же мы тянемся к небу, чтобы услышать ее песнь. К двери этой милой миру странницы донесла меня мелодия, и к ней обращены были остальные слова начатого стихотворения.

Много лет спустя нищий бауль шел по улице Больпура и пел:

Как эта неведомая птица то впорхнет в клетку, то выпорхнет!

Ах, если б мне словить ее, я бы надел ей на ногу кольцо моей любви!

Я понял тогда, что этот бауль говорит о том же самом. Неведомая птица иногда сдается нам, и из-за

решетки своей клетки нашептывает нам вести о неведомом запредельном. Сердцу любо удержать бы ее при себе навеки, да не в силах оно. Кто, кроме мелодии песни, может поведать нам о прилете и улете неведомой птицы?

Вот почему я лишь скрепя сердце печатаю слова моих песен отдельно от их мелодий: в них неизбежно отсутствует душа.

32. БЕРЕГ РЕКИ

Когда я вернулся домой из моего неудачного второго «путешествия в Англию», мой брат Джьотириндра и невестка жили в усадьбе на берегу реки в Чандранагаре, и я поехал к ним. Снова Ганг! Снова те несказанные дни и ночи, томные радостью, скорбные томлением, под жалобное журчание струй в прохладной тени лесистых берегов. Полное света бенгальское небо, южный ветерок, движение реки, царственная лень, широко раскинувшаяся от горизонта до горизонта и от зеленой земли до голубого неба,—все это было мне, как еда и питье голодному и жаждущему. Здесь я чувствовал себя дома, а во всем окружающем—заботу и ласку Матери*.

Это было не так давно — и все же время принесло большие перемены. Там, где наши малые гнезда на берегу ютились в окружавшей их зелени, возвышаются ныне, как драконы, свистящие, изрыгающие черный дым башни мельниц.

В трезвом дневном свете современной жизни даже часы душевного досуга сокращены почти до исчезновения, и тысячеголовое брожение проникло во все области жизни. Быть может, это и к лучшему, но я, по крайней мере, не в состоянии видеть в этом только хорошее.

Эти очарованные дни на берегу реки текли один за другим, как те многочисленные заветные цветки лотоса*, что плыли по святой реке. Не раз в дождливый день проводил я полуденные часы в полном самозабвении, распевая старинные вайшнавитские песни под мои собственные мелодии, аккомпанируя себе на гармоние. Другие дни мы проводили в лодке на реке; мой брат Джьотириндра аккомпанировал мне на скрипке. Начиная с *Пурави*, мы изменяли лады наших песен вровень со склоняющимся днем, и, дойдя до *Бехага*, мы видели, как закатное небо закрывает врата своей мастерской золотых игрушек и луна на востоке восходит над каймою деревьев.

Тогда мы подплывали обратно к пристани нашей усадьбы и садились на коврик на террасе у берега реки. Серебристая тишина царила над землею и водами; не слышно было лодок; деревья на берегу одеты были густою тенью, и лунный свет сиял над плавно катящейся рекой.

Усадьба, в которой мы жили, носила название «Сад Морана». Лестница из выстланных камнем ступенек вела от воды к длинной, широкой веранде, составлявшей часть дома. Комнаты были расположены неправильно и на разном уровне; в некоторые из них можно было попасть только по небольшим лесенкам. В просторной зале, выходящей к пристани, окна были из цветного стекла с живописью. На одном из окон изображена была качель, свисающая с ветви, наполовину скрытой в густой листве, и в пестрой светотени под кущей качающаяся пара влюбленных; на другом была изображена широкая лестница, ведущая во дворец или замок, по которой спускались и поднимались мужчины и женщины в праздничных одеждах. Когда свет падал на окна, картины волшебным образом преображались, как бы

наполняя прибрежный воздух праздничной музыкой. Какое-то далекое, давно забытое празднество, казалось, сияло в безмолвных словах из света, а любовный трепет качающейся пары оживлял своей вечной повестью береговые леса.

Самая верхняя комната дома помещалась в круглой башне с окнами во все стороны. Там я обычно писал свои стихи. Ничего не было видно с башни, кроме вершин окружающих деревьев, да открытого неба. Я сочинял тогда *Вечерние Песни*; и к этой комнате относятся в них следующие строки:

Там, где в лоне безбрежного неба идут ко сну облака,
Я построил мой дом для тебя, о Поэзия!

33. ЕЩЕ О «ВЕЧЕРНИХ ПЕСНЯХ»

В то время я слыл среди литературных критиков поэтом с ломаной каденцией и шепелявым произношением. Все вокруг моих произведений казалось туманным и темным. Как ни мало приятно это мне было в то время, обвинение все же не лишено было оснований. Моей поэзии действительно недоставало скелета реальности. Но как мог я, в уединении моих ранних лет, добыть для него необходимый материал?

В одном я не согласен, однако, с моими обвинителями: за упреком в туманности скрывалось жало еще горшего, но несправедливого обвинения в аффектации с целью произвести впечатление. Счастливый обладатель хорошего зрения склонен иронизировать над юношей в очках, утверждая, что он носит их из франтовства. Можно пожалеть беднягу за его недостаток, — но слишком злостно было бы обвинить его в притворстве.

Туманность не есть нечто внемирное; она лишь известная ступень творения; и совершенное непризнание поэзии, не достигшей зрелости, не приблизило бы нас к истине в вопросах литературы. Любая фаза природы человека заслуживает сохранения, если только она нашла истинное свое выражение; отброшена же она может быть только, если она его не нашла. В жизни человека есть период, когда им владеет смутное томление пафос невыразимого. Отвечающая ему поэзия не может считаться надуманной; она в худшем случае может быть малоценной, но необязательно и это. Грех не в том, что в ней выражается, а в недостатке силы выражения.

Есть две стихии в человеке. О внутренней личности, таящейся под внешним потоком мыслей, чувств и событий, мало известно, и о ней мало думают; но все же она — неустрашимый фактор в ходе жизни. Если внешняя жизнь не гармонирует с внутренней, внутренняя личность страдает; отражение ее страдания во внешнем сознании трудно назвать или хотя бы только описать, но оно во всяком случае более похоже на нечленораздельный вопль, чем на слова с отчетливым смыслом.

Скорбь и страдание, искавшие своего выражения в *Вечерних Песнях*, коренились в глубинах моего существа. Как сознание, скованное сном, борется с кошмаром, стремясь пробудиться, так подводное, внутреннее я борется против удерживающих его пут, чтобы выйти на свободу. *Вечерние Песни* — история этой борьбы. Как повсюду в творении, так и в поэзии имеется противоборство сил. Где расхождение между ними слишком велико, или, наоборот, слишком велика их взаимная близость, — там, мне кажется, нет места для поэзии. Там же, где боль разлада стремится

достичь своего разрешения и выражения в гармонии, там поэзия изливается в музыку, как дыхание—через отверстия флейты.

Когда *Вечерние Песни* впервые увидели свет, они не были встречены барабанным боем, но нашли и почитателей. Я в другом месте рассказал уже о том, как на свадьбу старшей дочери г. Рамеш Чандра Датта пришел Банким Бабу и хозяин приветствовал его традиционной гирляндой цветов, а когда пришел я, то Банким Бабу стремительно схватил гирлянду и, обвив ее вокруг моей шеи, сказал: «Ему венец, Рамеш; читали вы его *Вечерние Песни*?» А когда г. Датт признался, что он их не читал, мнение, высказанное Банкимом Бабу относительно некоторых из них, вполне вознаградило меня за все.

Вечерние Песни завоевали мне поддержку одного друга, одобрение которого, подобно солнечным лучам, оживляло и направляло ростки моих молодых стремлений. То был Бабу Приянат Сен. Как раз перед этим *Разбитое Сердце* заставило его отказаться от всех возлагавшихся им на меня надежд, но *Вечерние Песни* вызвали их вновь к жизни. Те, кто с ним знаком, знают его, как опытного пловца всех семи морей* литературы, по дорогам и тропинкам которых, едва ли не на всех индийских и иностранных языках, он постоянно странствует. Разговор с ним открывал перед собеседником окна на самые удаленные пейзажи в мире идей. Это имело для меня громадное значение. Он в состоянии был высказывать литературные суждения с величайшей уверенностью, ибо ему не приходилось опираться на столь беспомощный критерий, как личный вкус. Его авторитетные критические отзывы принесли мне громадную пользу. Я обычно читал ему все написанное мною, и если бы не благовременные

дожди его веских оценок, то трудно сказать, дали ли бы мои ранние запашки те же всходы.

34. «УТРЕННИЕ ПЕСНИ»

На речном берегу я писал также и прозу — не на какую-либо определенную тему или по какому-либо плану, а так, как мальчики ловят бабочек. Когда внутри настает весна, многоцветные грезы-однодневки рождаются и порхают в душе, обычно незамечаемые. Быть может, то был лишь каприз тех праздных дней моих—собирать их. Или, быть может, то была лишь другая фаза жизни моего освобожденного я, которое вздохнуло свободно и решило писать все, что ему вздумается; сюжет мне был не важен, важно было лишь то, что пишу я. Эти прозаические опыты изданы были позднее под названием *Vividha Prabandha* («На различные темы»), но они испустили свой последний вздох с первым же изданием, не дотянув до второго.

Должно быть, в то же время я начал мою первую повесть: *Bauthâkuranir Hât*.

После того, как мы прожили некоторое время на реке, мой брат Джьотириндра поселился в отдельном доме в Калькатте, на Саддер Стрит, около Музея. Я попрежнему жил у него. Продолжая писать свою повесть и *Вечерние Песни*, я пережил глубочайший внутренний переворот.

Однажды в позднее пополуденное время я расхаживал по террасе нашего дома в Джорасанко. Солнце зашло, и сияние закатного неба, смешиваясь с бледными сумерками, придавало наступавшему вечеру особую, изумительную привлекательность. Даже стены соседнего дома, казалось, сияли новою красотой. Какая сила совлекла с мира повседневных вещей

покров обыденности?—думал я. Магия вечернего освещения? Никогда!

И вдруг я увидел, что то просто была красота вечера, вошедшая в меня: в его тенях стушевалось мое я. В блеске дня я господствовало безудержно; все, что я воспринимал, было пронизано, окутано им. Теперь оно отступило в сторону, и я мог созерцать мир в его истинном облике. А в этом его облике—обыденности нет и следа; он исполнен красоты и радости.

С тех пор я неоднократно повторял опыт сознательного подавления своего я и созерцания мира как бы со стороны и неизменно бывал вознаграждаем ощущением своеобразного наслаждения. Я припоминаю также, что однажды я пытался объяснить одному из наших домашних, как можно увидеть мир в его подлинном виде и как при таком видении становится легко на душе—но, кажется, без успеха.

Затем я увидел еще нечто, что потом не переставал уже видеть всю мою жизнь.

Конец улицы Саддер Стрит и деревья на участке Бесплатной Школы напротив были видны из нашего дома на Саддер Стрит. Однажды утром я стоял на веранде и смотрел в ту сторону. Солнце в это время подымалось за покрытыми листвою вершинами деревьев. Я все смотрел—и вдруг как бы пелена упала с моих глаз: весь мир передо мною омыт был чудесным сиянием, и со всех сторон вздымались волны радости и красоты. Сияние это мгновенно пронизало складки печали и уныния, собравшиеся на моем сердце, и наводнило его безбрежным светом.

В тот же день поэма *Пробуждение Водопада* излилась и потекла настоящим каскадом. Поэма была мною закончена, но зрелище радостного мира, открывшееся

мне, не прерывалось падением занавеса. И стало так, что ни один человек и ни одна вещь не казались мне обыденными или уродливыми. Особенно удивителен был случай, произошедший день или два спустя.

Был один чужак, который иногда навещал меня и задавал мне разного рода наивные вопросы. Однажды он спросил: «Видели ли вы, господин, бога своими собственными глазами?» Мне пришлось признаться, что нет; он же в ответ заявил, что видел. «Что же вы видели?»—спросил я. «Он кипел и бурлил перед моими глазами!»—был ответ.

Легко себе представить, что подобные мало вразумительные речи не могли быть притягательны для собеседника. Кроме того, я в то время был совершенно поглощен писанием стихов. Но все же мне не хотелось оскорблять безобидное существо, и я не отказывал ему в разговоре.

На этот раз, когда он явился, я был обрадован его приходом и сердечно его встретил. Одевание его чудачества и придурковатости как бы соскользнуло с него, и тот, кого я радостно приветствовал, оказался несколько не ниже меня, мало того—близким мне.

Не найдя в себе ни каких-либо следов досады по поводу его прихода, ни ощущения бесполезной траты времени, я исполнился сильнейшей радости и почувствовал, что избавился от каких-то пут лжи, причинявших мне дотоле ненужные неудобства и страдания.

Когда я стоял на балконе, походка, фигура, лицо каждого из прохожих, кто бы он ни был, казались мне небывало-чудесными—катящиеся волны мирового моря. С детства я видел одними только глазами, но тогда я стал видеть всем своим сознанием. Я уже не мог видеть в двух улыбающихся юношах, беспечно идущих своей дорогой, обняв друг друга, нечто мгно-

венное и преходящее; сквозь них прозревал я бездонные глубины неотцветающей весны вселенской радости, из которой бесчисленные лучи брызжут во все концы мира.

До того я никогда не замечал игры членов и линий, всегда сопровождающих малейшее движение человека; теперь я был совершенно зачарован их богатством и разнообразием, расцветавшим навстречу мне со всех сторон, в каждое мгновение. Но я видел притом каждое из этих движений не как отдельное, а как часть того изумительно-прекрасного великого танца, что колеблет ежемгновенно весь человеческий мир, проникая во все людские жилища, во все многообразные действия и потребности людей.

Двое друзей радостно хохочут, мать ласкает своего ребенка, корова трется боком о другую и лижет ее, — неизмеримость, что позади всего этого, воочию предстает моему духу потрясением, граничащим с болью.

Когда я писал об этом времени:

Не знаю как, сердце мое вдруг распахнуло свои двери,
И в него влился поток миров, приветствующих друг друга —

то не было поэтическим преувеличением. Пожалуй, вернее будет сказать, что у меня не хватало сил выразить все, что я чувствовал тогда.

Некоторое время я прожил в этом самозабвенном состоянии блаженства. Затем мой брат решил пожить в Дарджилингских горах. Тем лучше, подумал я. На гордых вершинах Гималаев я глубже загляну в то, что открылось мне на Саддер Стрит, или, по крайней мере, я увижу, как развернутся Гималаи в свете моего нового дара видения.

Но победа осталась за малым нашим домом на Саддер Стрит. Когда я, взобравшись на горы, огляделся

вокруг, я вдруг заметил, что потерял свою новую силу зрения. Моя ошибка, видно, была в том, что я воображал, будто можно расширить обладание истиною извне. Как бы высоко ни вздымался к небу Царь Гор, среди его даров может не найтись ничего для меня, меж тем как Даятель может даровать откровение вечности хотя бы и в грязном переулке, и в едином мгновении времени.

Я блуждал среди елей, я сидел у водопадов и купался в горных озерах, я созерцал величавую вершину Кинчинджунга при безоблачном небе, но того, что надеялся найти в этих прекрасных пейзажах, я не находил. Я пришел, чтобы глубже проникнуть в то, но мне не дано было более его видеть. Пока я с изумлением глядел на алмаз, крышка внезапно закрылась, а я продолжал смотреть на заключавший его ларец. Но как бы ни была привлекательна его отделка, я уже не считал его просто пустым ларцом.

Утренние Песни были закончены; их последний отголосок замер в том «Эхо», которое я написал в Дарджилинге. Эта поэма была, повидимому, настолько непонятна, что двое из моих друзей держали пари насчет действительного ее смысла. Единственным моим утешением было то, что я и сам не в состоянии был раскрыть им загадку, вследствие чего никто и не проиграл этого пари. Увы, те дни, когда я писал на редкость понятные стихи о *Лотосе* или об *Озере*, минули невозвратно.

Но разве поэзия пишется для объяснения чего-либо? Что-то, ощущаемое внутри, стремится обрести себе внешнюю форму в виде стихотворения. Поэтому, когда кто-нибудь, выслушав стихотворение, говорит, что он не понял, я нахожусь в большом затруднении. Если кто-нибудь, понюхав цветок, скажет, что он не пони-

мает, ответ ясен: тут нечего понимать, это ведь только запах. Если же он будет настаивать на своем, говоря: «Это-то я знаю, но что все это значит?», тогда придется либо переменить тему разговора, либо же сделать вопрос еще менее ясным, утверждая, что аромат есть та форма, которую всемирная радость принимает в цветке.

Вся беда именно в том, что слова имеют смысл. Вот почему поэту приходится сдавливать их, вплетая их в размеры и строки, чтобы несколько ослабить влияние смысла и дать чувству свободу выражения.

Это выражение чувства не есть провозглашение какой-либо основной истины, или научного факта, или полезного морального предписания. Подобно слезе или улыбке, стихи суть изображение того, что совершается внутри. Если Наука или Философия в состоянии извлечь для себя что-нибудь из поэзии— пусть приходят и берут, но не в этом цель ее существования. Если, переправляясь через реку на пароме, вам удастся словить рыбу, это ваша удача, но это не значит, что паром есть рыбацья лодка, и вы не в праве упрекать перевозчика за то, что он не занимается рыбной ловлей.

Поэма «Эхо» была написана так давно, что не вызвала к себе большого внимания, и теперь мне уже не приходится объяснять ее смысл. Тем не менее, каковы бы ни были другие ее достоинства или недостатки, я могу уверить моих читателей, что моей целью не было ни загадать загадку, ни преподать незаметно какое-либо надуманное поучение. В сердце моем родилось некое стремление, и, не найдя иного имени, я назвал то, что было предметом его—словом «Эхо».

Когда из первозданных родников, что бьют в глу-

бинах мироздания, истекают потоки мелодии, их эхо отражается в наши сердца лицами любимых, и другими прекрасными вещами вокруг нас. Мы любим, хотел я сказать тогда, именно это эхо, а не самые вещи, от которых оно случайно отражается; ибо то, чего мы не удостоили взгляда, завтра может привлечь к себе весь пыл нашего преклонения.

Я долго созерцал мир одним лишь внешним зрением и не видел его радостного облика. Когда же внезапно из сокровенных глубин моего существа прорвался наружу луч света, он осветил мне весь мир, который с тех пор уже не был для меня подобен нагромождению разрозненных вещей и событий, но раскрылся моему взору, как единое целое. Этот душевный опыт, казалось, говорил мне о потоке мелодии, истекающем из самого сердца вселенной и омывающим времена и пространства, отражаясь в них волнами радости, которые стремятся обратно к источнику.

Когда певец посылает свою песнь из глубины своего переполненного сердца, в этом подлинная радость. Его радость удваивается, если песня возвращается к нему, как к слушателю. Когда творение Верховного Поэта возвращается к нему рекою радости,—мы, давая ей протечь через наше сознание, вдруг непосредственно, невыразимым образом, постигаем ту цель, к которой эта река стремится. И наша любовь уносится вместе с этою рекою, и наше я, еле удерживаясь на своих якорях, тянется к той же бесконечной цели. Вот смысл того беспокойства, которое охватывает нас при лицезрении красоты.

Поток, текущий от Бесконечного к конечному—есть Истина, есть Добро; он подвластен закону и форме. Его эхо, возвращающееся к Бесконечному, есть Красота и Радость, неопределимые, неуловимые, и потому

уводящие в беспредельное. Вот что я пытался притчею и песнею сказать в своем «Эхо». Неудивительно, что поэма была непонятна—ведь она тогда не была ясна и ее автору.

Я приведу здесь отрывок об *Утренних Песнях* из письма, писанного гораздо позднее:

«Нет никого на свете, все в моем сердце»—такое настроение свойственно определенному возрасту. Когда сердце впервые пробуждается, оно простирает свои руки и стремится обнять весь мир; так ребенку, у которого прорезываются зубы, кажется, что все предназначено для его рта. Лишь постепенно оно научается понимать, что ему действительно нужно. Тогда его туманные излучения падают обратно, нагреваются и греют сами. Желать все—значит не получить ничего. Лишь когда желание сосредоточено со всею силой на каком-либо одном предмете, становятся видимыми врата Бесконечного. *Утренние Песни* были первым порывом моего внутреннего я наружу, и в них, поэтому, отсутствуют всякие признаки подобного сосредоточения.

Эта всепроницающая радость первого саморасширения имеет, однако, своим следствием знакомство с действительностью. Озеро ищет избавиться от своего избытка и дает начало реке. В этом смысле позднейшая постоянная любовь уже, чем первая любовь. Она более определена в своем направлении, стремится к осуществлению целого в каждой его части и тем самым и к Бесконечному. То, чего она действительно достигает, есть уже не прежнее неограниченное распространение внутренней радости на весь мир, но погружение в бесконечную реальность вовне, а вместе с тем и постижение полной истины своих стремлений.

В издании Мохита Бабу эти *Утренние Песни* были помещены в группе стихотворений, названных *Нишкраман* («Выход»): ибо они были вестью о моем выходе из

Пустыни Сердца в открытый мир. А затем мое сердце-паломник, шаг за шагом, область за областью, знакомилось с миром, в разных условиях и на разные лады. А в конце, оставив за собою многочисленные пристани вечно-изменяющегося Преходящего, оно достигнет Бесконечного: не туманности неопределенных возможностей, но последней, совершенной полноты Истины.

С самых ранних моих лет я находился в непосредственном и тесном общении с Природой. Каждое из кокосовых деревьев в нашем саду обладало для меня особой индивидуальностью. Когда я, по возвращении домой из Нормальной Школы, видел нагроможденные за крышей нашего дома серо-голубые, исполненные влаги облака, меня мгновенно охватывал прилив непомерной глубокой радости, которую я могу воскресить в себе еще и сейчас. Каждое утро, когда я открывал глаза, блаженно просыпающийся мир манил меня к себе, как товарищ по играм; раскаленное дневное небо во время долгих часов пополуденной снесты увлекало меня из мира будней в свои пустынные скиты; а тьма ночи распахивала врата своих призрачных путей и уносила меня через все семь морей и тринадцать рек, через все пределы мыслимого и немислимого, прямо в свою страну чудес.

Затем однажды, на заре юности, мое голодное сердце возжаждало пищи, и между внутренним и внешним миром воздвиглась стена. Все мое существо кружилось вокруг смятенного моего сердца, создавая водоворот, в круги которого было замкнуто сознание.

Эта утрата гармонии между внутренним и внешним, вызванная чрезмерными притязаниями алчущего сердца, и последовавшее за нею ограничение

моей привилегии вольного общения с природой—было оплакано мною в *Вечерних Песнях*. В *Утренних Песнях* я отпраздновал внезапное открытие в стене бреши, вызванное, не знаю каким, сотрясением; и через эту брешь я вновь обрел утраченное не только в том же виде, как раньше, но—благодаря временной разлуке—глубже и полнее.

Так Первая Книга моей жизни закончилась этими главами Единения, Разлуки и Воссоединения*. Впрочем, она еще не кончилась: ведь та же тема должна быть проведена через более совершенные разрешения более сложных задач и доведена до конца. Каждый приходит сюда, чтобы написать одну лишь книгу жизни, которая, во время поступательного движения своих отдельных частей, растет спиралеобразно, по мере удлинения радиуса. И хотя каждый участок ее может на первый взгляд показаться отличным от другого, все они на деле восходят к тому же самому исходному центру.

Прозаические произведения эпохи *Вечерних Песен* были изданы, как я уже говорил, под названием *Vividha Prabandha*. Те, что по времени написания отвечают *Утренним Песням*, вышли под заглавием *Alocanâ* («Размышления»). Различие в характере этих двух сборников также свидетельствует о перемене, которая в промежутке произошла со мною.

35. РАДЖЕНДРАЛАЛ МИТРА

Приблизительно в это же время мой брат Джьотириндра задумал устроить Литературную Академию, которая должна была объединить всех известных писателей. Ее целью была выработка авторитетной

бенгальской терминологии и всяческое иное содействие развитию нашего языка,—в этом отношении она мало отличалась в своих принципах от современного *Sahitya Parishat*.

Д-р Раджендралал Митра, с восторгом принявший эту мысль, был президентом Академии в течение короткого времени ее существования. Когда я явился с приглашением к пандиту Бидьясагару, он выслушал мое изложение целей общества и список предполагаемых членов и затем сказал: «Мой совет вам: не приглашайте важных особ; вы никогда не добьетесь взаимного согласия между ними»,—и с этими словами он отказался от вступления. Банким Бабу вступил в общество, но я не могу сказать, чтобы он проявлял большой интерес к его работе.

Если сказать откровенно, то за время существования Академии вся работа в ней выполнялась единолично Раджендралалом Митрой. Он начал с географических терминов. Черновой список был изготовлен им самим, напечатан и роздан членам для замечаний. У нас был, между прочим, и проект бенгальской транслитерации названий всех стран соответственно произношению, принятому в каждой из них...

Пророчество пандита Бидьясагара исполнилось. Оказалось невозможным побудить важных особ сделать хоть что-нибудь. Академия завяла, едва успев распуститься. Но Раджендралал Митра был экспертом по всем вопросам: он сам по себе был академией. Мои труды по Академии были с лихвой оплачены знакомством с ним. Я встречался со многими бенгальскими писателями, но ни один не производил на меня впечатления такого блеска, как он.

Я обычно навещал его в здании Суда в Маниктала. Я ходил к нему по утрам и всегда находил

его погруженным в работу; с юношеской беспечностью я прерывал ее. Но я ни разу не видел никаких признаков недовольства мною с его стороны. Завидев меня, он откладывал в сторону свою работу и начинал беседу со мной. Известно, что он был глуховат, и мне обычно не удавалось предлагать ему вопросы. Он брал всегда какую-нибудь обширную тему и начинал ее развивать; и как раз эти его речи и привлекали меня к нему. Я не знаю никого, чьи беседы были бы так богаты мыслями по столь разнообразным вопросам. Я слушал его с упоением.

Если я не ошибаюсь, он был членом комиссии по учебникам; каждую книгу, которую он получал для отзыва, он прочитывал от начала до конца, делая карандашом отметки на полях. Иногда он выбирал одну из этих книг за основу для беседы о строении бенгальского языка в частности, или по филологии вообще; эти беседы были для меня в особенности полезны. Было очень мало вопросов, которые не были бы им изучены; и все, что он изучал, он умел прекрасно излагать.

Если бы мы не надеялись на других членов Академии, которых мы старались привлечь, а возложили все на д-ра Раджендралала, *Sâhitya Parishat* застало бы вопросы, которые оно теперь изучает, в гораздо более разработанном виде.

Д-р Раджендралал Митра был не только глубокоученым человеком; он обладал чрезвычайно привлекательным характером, светившимся в его лице. Полный огня в общественной своей деятельности, он в частной жизни преображался и мог говорить с молодкосом, как я, на серьезные темы без всяких признаков покровительственного тона. Я даже воспользовался его снисходительностью, чтобы получить

у него одну вещицу, под названием *Пес Ямы*, для журнала *Барати*. У него было немало других современников, с которыми я не позволил бы себе подобных вольностей и которые совершенно иначе отнеслись бы к ним.

Когда же ему приходилось защищать против других свои взгляды, его оппоненты по Муниципальной Корпорации или по Университетскому Сенату смертельно боялись его. Кристо Дас Паль слыл в те дни за осторожного дипломата, а Раджендралал Митра — за храброго воина.

Для некоторых целей, связанных с Азиатским Обществом, он пользовался услугами ряда пандитов-санскритистов, выполнявших для него технические работы. Помнится, некоторые завистливые и тупоумные клеветники пытались воспользоваться этим, утверждая, что все делается пандитами, а он обманым образом пользуется их трудом. Еще и поныне мы нередко видим, как орудия претендуют на львиную долю, воображая, что их владелец — лишь своего рода декоративная виньетка. Если бы перо обладало душой, оно наверное также оплакивало бы, как несправедливость, что на его долю приходится весь труд, вся же слава — на долю писателя!

Поразительно, что этот исключительный человек не был признан своими соотечественниками даже после своей смерти. Быть может, это отчасти объясняется тем, что национальная скорбь по случаю смерти Бидьясагара, умершего вскоре после Раджендралала, не оставила места для оценки этой утраты. Кроме того, тут могло еще сыграть роль то, что он не был по преимуществу бенгальским писателем и потому не смог завоевать сердца своего народа.

36. КАРВАР

Наша колония на Саддер Стрит затем переехала в Карвар на западном берегу моря. Карвар—главный город округа Канара в южной части бомбейского президентства. Это — страна Малайских Гор санскритской поэзии*, где растут ползучий кардамон и санталовое дерево. Мой второй брат был назначен туда судьей.

Небольшой залив, окруженный холмами, настолько открыт, что нисколько не напоминает порт. Его серповидный берег раскрывает объятия безбрежному морю, как воплощение страстного стремления к бесконечному. Край широкого песчаного берега окаймлен лесом казуарий, прерываемым с одной стороны рекою Каланади, которая здесь впадает в море, пройдя через устье с рядами холмов по обоим берегам.

Я вспоминаю, как однажды лунным вечером мы плыли в лодке по этой реке. Мы остановились у холма, на котором раньше находилась крепость Шиваджи, и, выйдя на берег, зашли в чисто вычищенный дворик крестьянской избы. Мы сидели в тени, а лунные лучи серебрили ограду двора; здесь мы поужинали тем, что имели с собой. На обратном пути мы предоставили лодке плыть по течению. Ночь царила над недвижными холмами и лесами и над молчаливострующими водами нашей речки, осеняя все чарами лунного света. Прошло немало времени, пока мы достигли устья реки; поэтому мы, вместо того, чтобы вернуться домой морем, вытащили лодку и пошли берегом. Была уже глубокая ночь, море было гладко, как зеркало, даже вечный ропот казуарий умолк. Тень, отбрасывавшаяся лесом на широкий берег,

недвижно висела вдоль его края, а серо-голубые холмы вокруг горизонта безмятежно спали под небом.

Сквозь глубокое молчание этой безграничной белизны мы, несколько человеческих существ, брели, влача наши тени, не говоря ни слова. Когда мы пришли домой, мой сон растворился в чем-то более глубоко. Стихи, которые я тогда написал, неразрывно связаны с той ночью на далеком морском берегу. Не знаю, как их воспринял бы читатель отдельно от тех воспоминаний, с которыми они сплетены. В виду этих сомнений они были пропущены в издании Мохита Бабу. Я полагаю, что в моих воспоминаниях для них вполне подходящее место.

Да поникну я, теряясь в глубинах полуночи!
Пусть земля отпустит меня, освободит меня от препон праха!
Бодрствуйте издали, звезды, хоть вы и опьянены лунным светом, и пусть горизонт попрежнему объемлет меня своими крылами!

Пусть не будет ни песен, ни слов, ни звуков, ни касаний; ни сна, ни пробуждения, —
один лишь лунный свет над небом и существом моим, в беспамятстве исступления!

Мир кажется мне кораблем с бесчисленными паломниками, исчезающим в дальней лазури неба,
Их песнь все слабее и слабее доносится в воздухе,
Я же погружаюсь в пучины безмерной ночи, незримый себе, обращаюсь в точку.

Здесь необходимо отметить, что если что-нибудь пишется от избытка чувств, то это еще нисколько не гарантирует качества написанного. Так бывает, когда выражение слишком проникнуто эмоцией. Как неуместно, чтобы пишущий был совершенно отчужден от выражаемого им чувства, так же и чрезмерная близость к чувству враждебна подлинной поэзии. Память есть та кисть, которая лучше всякой иной

способна наводить поэтический колорит. Близость действует чересчур понудительно, и воображение недостаточно свободно прежде, чем оно не избавится от ее влияния. Не только в поэзии, но и во всяком другом искусстве, дух художника должен достичь известной меры отрешенности—и лишь творцу в человеке должна быть предоставлена полная свобода. Если же в творении художника преобладает изображаемый им предмет, то результатом является лишь нечто вроде фотографии события, а не преломление его в духе художника.

37. «МЕСТЬ ЕСТЕСТВА»

В Карваре я написал драматическую поэму: «*Практир Пратишод* («Месть Естества»)*. Героем ее является отшельник, стремящийся победить естество, отрезать все нити желаний и привязанностей, чтобы достичь истины и глубокого познания себя. Но маленькая девочка возвращает его из его общения с бесконечным к оковам человеческой любви. Вернувшись, отшельник понял, что великое обретает себя в малом, бесконечное—в гранях форм, а вечная свобода души—в любви. Лишь в свете любви все предельное пронизано беспредельным.

Морской берег в Карваре несомненно весьма подходящее место для того, чтобы понять, что красота природы не есть мираж воображения, но отражает радость бесконечного и влечет нас раствориться в нем. Там, где мир находит выражение в магии своих законов—мы, естественно, теряем из виду его бесконечность; но там, где сердце непосредственно соприкасается с безмерностью в красоте самых незначительных вещей,—всякая нужда в аргументации исчезает.

Природа привела отшельника к Бесконечному, проникшему в Конечное стезею сердца. В *Мести Естества* показаны, с одной стороны, странники и деревенские жители, довольные своей доморощенной тривиальностью и не знающие ни о чем вне их круга; с другой—отшельник, отрекающийся от всего, и от себя самого, ради воображаемой бесконечности его вымысла. Когда любовь перекинула мост через отделявшую обе стороны пропасть, и отшельник и домохозяин встретились,—кажущаяся тривиальность конечного и кажущаяся пустота бесконечного исчезли бесследно и одновременно.

То было лишь новым выражением истории моего собственного опыта, истории о том пьянительном луче света, пробившемся в пещеру, где я жил вдали от мира, и вновь, и полнее, объединившем меня с природой.

Эта *Месть Естества* может быть рассматриваема, как введение ко всей моей последующей литературной деятельности; или, вернее, это была тема, к которой тяготели все мои писания: радость обретения Бесконечного в Конечном.

На обратном пути домой из Карвара я написал несколько песен для *Мести Естества* на борту корабля. Первая из них наполнила меня большой радостью, когда я пел и писал ее, сидя на палубе:

Мать, оставь твоего мальчика-любимца нам,
Дай нам взять его с собой на поле, где мы пасем наших овец!

Солнце взошло, почки раскрылись, мальчишки-пастухи идут в поле; им хотелось бы, чтобы их солнечный свет, цветы и их игры на лужайках не были так одиноки. Они жаждут видеть среди своих игр *Шьяма*

(Кришну). Они хотят видеть Бесконечное во всей прелести его близости; они вышли так рано потому, что им хочется встретиться с ним в радостной игре, посреди лесов, полей, холмов и долин,—а не созерцать его лишь издали, в величии его мощи. Их одежды просты. Все, что им нужно, это—грубое желтое одеяние и гирлянды полевых цветов. Ибо там, где безраздельно царит радость, ревностно гнаться за нею или одевать ее в излишнюю пышность—значит терять ее.

Вскоре после моего возвращения из Карвара я женился. Мне тогда было двадцать два года.

38. «КАРТИНЫ И ПЕСНИ»

Чаби о Ган («Картины и Песни») — таково было название сборника стихов, большая часть которых была написана в это время.

Мы жили тогда в доме с садом на Lower Circular Road. С юга к ней прилегала широкая *Басти*. Я часто сидел у окна и наблюдал зрелище этого населенного маленького городка. Я любил наблюдать работу его обитателей, их игры и отдых и их разнообразные движения взад и вперед. Все это было для меня, как живая книга.

В то время мне присуще было какое-то особое богатство зрительной фантазии. Каждую отдельную картину я окружал светом моего воображения и радостью моего сердца; сверх того, каждая из них была еще окрашена и своим особым пафосом. Наслаждение, испытывавшееся мною от такого особого выделения каждого зрительного образа, подобно было наслаждению живописца—ибо и то, и другое рождено желанием созерцать духом то, что видит глаз, и глазом то, что создает дух.

Будь я живописцем с кистью в руках, я, несомненно, пытался бы запечатлеть и увековечить видения и создания этого периода, когда дух мой был так чуток и отзывчив. Но я не мог пользоваться кистью; в моем распоряжении были только слова и размеры, к тому же я еще не научился делать уверенных мазков, и краска часто разливалась за намеченные ей пределы. Но, подобно детям с их первой книжкой для рисования, я проводил целые дни, зарисовывая многоцветные образы моей новорожденной юности. Если рассматривать эти картинки в свете того времени и возраста, то все же кое-что можно разобрать, несмотря на их неуклюжие контуры и грязную расцветку.

Я сказал, что Первая Книга моей литературной жизни закончилась *Утренними Песнями*. Затем та же тема продолжалась в новых и новых переложениях. Многие страницы в начале этой книги лишены ценности, в этом я уверен. В начале всякого нового предприятия неизбежны разные сами по себе излишние действия. Если бы то были листья деревьев, они во-время опали бы. На беду, книжные листы продолжают оставаться на своих местах и тогда, когда они более не нужны. Характерной чертой этих стихов было пристальное внимание к мелочам. Поэмы сборника *Картины и Песни* пользуются всяким случаем, чтобы выдвигать их, расцвечивая их неподдельностью сердечного чувства.

Или, вернее, дело было не в том. Когда струна духа надлежаще настроена в соответствии со вселенной, тогда в каждой точке своей песнь мира способна вызвать ее сочувственное дрожание. Слыша эту песнь внутри себя, я ничего не находил тривиальным вовне. Все, на что падал мой взор, вызывало мой отклик. Как дети, для которых игрушкой могут стать и

песок, и камни, и раковины, и всякая другая вещь, падающаяся им под руки (ибо они проникнуты самым духом игры), так и мы, будучи исполнены духа юности, замечаем, что повсюду протянуты различно-настроенные струны мировой арфы и что ближайшая из них может аккомпанировать нам не хуже всякой другой, и незачем искать чего-то вдалеке.

39. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПЕРИОД

В период времени между стихотворными сборниками *Картины и Песни* и *Диэзы и бемоли* началось и закончилось, как годичное растение, издание детского журнала *Балака*. Моя младшая невестка прониклась мыслью о необходимости издания иллюстрированного детского журнала. Она предполагала, что сотрудничать будет молодежь нашей семьи, но так как она чувствовала, что этого будет мало, она взяла на себя редакторские обязанности, а меня просила о сотрудничестве.

После того как вышло номера два журнала, я как-то отправился в Деогар—навестить Раджнарайна Бабу. На обратном пути поезд был битком набит, и так как единственная незатемненная лампа была как раз над моей головой, я не мог спать. Я решил воспользоваться случаем и выдумать сказку для *Балака*. Но, несмотря на все мои усилия, сюжет все ускользал от меня, и выручил меня неожиданно лишь сон. Я увидел во сне каменные стены храма, забрызганные кровью заколотых жертв; маленькая девочка стояла подле них с отцом и жалобным голосом спрашивала его: «Папа, что это? Почему здесь столько крови?» а отец, внутренне тронутый, с напускной суровостью пытался отделаться от ее вопросов. Когда я проснулся,

сказка была готова. И так не раз во сне мне являлись мотивы сказок и других произведений. Описанный же эпизод моего сна я разработал при помощи материала, заимствованного из анналов трипурского царя Гобинды Маникья, и получилась небольшая сказка, под названием *Раджарши*, напечатанная в ряде выпусков *Балака* *.

То были дни полной беспечности. Не было ничего определенного, что стремилось бы найти себе выражение в моей жизни или писаниях. Я еще не присоединился к толпе странников на дороге жизни, а оставался зрителем у моего придорожного окна.

Много людей проходило мимо меня, спеша по своим делам, а время от времени неизменно то Весна, то Осень, то Дожди, непрощенные, входили и оставались у меня до поры, до времени *.

Но я имел дело не только с временами года. Разные люди, подчас интересные, сновали вокруг, как лодки, отчалившие от пристаней, и иногда входили в мою комнатку. Некоторые из них преследовали свои собственные цели, предлагали, пользуясь моей неопытностью, необычайные планы. Но им не стоило большого труда брать надо мною верх. Я тогда был еще мало искушен, мало в чем нуждался, и не всегда умел отличить искренность от притворства. Я часто воображал, что оказываю поддержку учащимся, которым помощь была так же мало нужна, как и их непрочитанные книги.

Однажды длинноволосый юноша принес мне письмо, якобы от его сестры, в котором она просила взять под свое покровительство этого своего брата, страдающего от тирании мачехи, столь же мнимой, как и она сама. Брат был, впрочем, не мнимый—это было достаточно ясно. Но письмо было столь же излишне,

как не нужен искусный стрелок, чтобы подстрелить птицу, не могущую летать.

Другой юноша явился и рассказал мне, что готовится к экзамену В. А., но не может закончить своей работы из-за болезни мозга. Я не остался равнодушен к его горю, но, не будучи знатоком медицины или какой-нибудь другой науки, не знал, чем помочь ему. Но он, оказалось, видел во сне, что моя жена, в одно из предыдущих рождений, была его матерью и что он сразу выздоровеет, если только выпьет воды, к которой прикасалась ее нога. «Вы, быть может, не верите в подобные вещи»,—закончил он с улыбкой. Я сказал, что дело не во мне и что, если он думает, что сможет выздороветь, я не прочь ему помочь; с этими словами я принес ему кубок с водой, которой якобы коснулась нога моей жены. Он почувствовал себя, по его словам, сразу неизмеримо лучше. В ходе естественной эволюции он от воды перешел к твердой пище. Затем он поселился в углу моей комнаты и часами курил вместе со своими знакомыми, пока мне не пришлось спасаться бегством из клубов табачного дыма. Понемногу выяснилось неопровержимо, что, хотя его мозг и не в полном порядке, но это не повлияло нисколько на его умственные способности.

После этого случая меня уже не так легко было заставить верить «детям из прежней жизни». Моя репутация очевидно распространилась, ибо вскоре я получил письмо от «дочери». В этом случае я однако вежливо, но твердо отказался от всяких сношений.

В течение всего этого времени росла и зрела моя дружба с Шриш Чандра Мазумдаром. Каждый вечер он и Прия Бабу приходили в мою комнату, и мы до поздней ночи говорили о литературе и музыке. Иногда

и целый день проходил в таком же занятии. Тогда мое я еще не отлилось и не выросло в твердую и определенную личность, и жизнь моя плыла легко и беззаботно, как осеннее облако.

40. БАНКИМ ЧАНДРА

В это время началось мое знакомство с Банкимом Бабу. Впервые я его видел еще гораздо раньше. Как-то бывшие студенты Калькаттского университета устроили годовое празднество, вдохновителем которого был Чандронат Бабу. Быть может, он лелеял надежду, что когда-нибудь и я смогу быть в их числе; как бы там ни было, но меня попросили по этому случаю прочесть стихи. Чандронат Бабу тогда был еще совсем молодым человеком. Я припоминаю, что он перевел какие-то воинственные немецкие стихи на английский язык и собирался в тот день их декламировать; он пришел к нам и прочел их нам с большим энтузиазмом. Из того, что ода поэта-воина к его любимому мечу могла быть тогда излюбленной поэмой Чандроната Бабу, читатель может убедиться, что и Чандронат Бабу некогда был молод и, мало того, что времена тогда были необычайные.

Блуждая по комнатам в шуме празднества, я вдруг увидел фигуру, которая поразила меня своим отличием от всех других участников вечера и не могла бы остаться незамеченной ни в какой толпе. Черты этого высокого, красивого человека сияли таким поразительным светом, что я не мог сдержать своего любопытства относительно него,—он был единственным из гостей, чье имя мне захотелось узнать. Когда я услышал, что это Банким Бабу, я был еще более изумлен—настолько чудесным показалось мне совпадение

его исключительной внешности с его исключительным писательским дарованием. Его острый орлиный нос, плотно сжатые губы и пронизательный взгляд—все говорило о громадной духовной силе. Скрестив руки на груди, он, казалось, отделил себя от окружающих, царственно высясь над толпой,—вот что более всего поразило меня. Он казался не только гигантом духа,—на его лбу как бы лежала печать прирожденного повелителя людей.

В моей памяти неизгладимо запечатлелся один случай, происшедший на этом собрании. В одной из комнат некий пандит декламировал сочиненные им санскритские стихи и по-бенгальски объяснял их своим слушателям. Один из его намеков был не то чтобы прямо непристой, но несколько вульгарен. Когда пандит только собирался приступить к его объяснению, Банким Бабу, закрыв лицо руками, стремительно вышел из комнаты. Я стоял около двери и доныне вижу перед собою, как он, съежась, почти пробежал мимо меня.

После этого мне часто хотелось повидать его, но не представлялось удобного случая. Наконец однажды я отважился навестить его,—он в то время был выборным членом магистрата в Ховре. Он принял меня, и я пустил в ход все, что мог, для ведения беседы. При возвращении домой я чувствовал себя крайне пристыженным тем, что бесцеремонно и грубо вторгся к нему, не будучи им приглашен, ни даже знаком с ним.

Несколько лет спустя я достиг известности в качестве самого молодого писателя того времени; но что до оценки моей деятельности, то она тогда отнюдь не была еще установлена. Завоеванная мною тогда известность смешана была с множеством сомнений

и даже с немалой долей снисходительности. В то время в Бенгалии принято было приурочивать к каждому писателю имя какого-либо европейского писателя, которому он был якобы конгениален. Так, один слыл бенгальским Байроном, другой Эмерсоном, и т. д. Меня некоторые стали называть бенгальским Шелли. Это было унижительно для имени Шелли и могло только вызывать смех по моему адресу.

Моей признанной литературной кличкой было: *Лепечущий Поэт*. Достижений у меня было мало, мое знание жизни—скудно, и как в моей поэзии, так и в прозе чувствительность была несоразмерна действительному содержанию. Не было никаких серьезных оснований в моей деятельности для оценки ее в положительном смысле. Так же несбычны были и моя одежда, и мое внешнее поведение. Я носил длинные волосы, и манеры мои отличались, вероятно, сверхпоэтической утонченностью. Словом, я был эксцентричен и не умел войти в колею повседневной жизни, как обычные люди.

В это время Бабу Акшай Саркар стал издавать ежемесячник *Набаджибан* («Новая Жизнь»), в котором я почти регулярно участвовал. Банким Чандра в это время как раз перестал редактировать *Банга Даршан* («Зерцало Бенгалии») и стал писать на религиозные темы, для чего им затеян был ежемесячник *Прачар* («Проповедник»). В нем я также поместил несколько песен и многословное похвальное рассуждение о вайшнавитской лирике.

С тех пор я стал регулярно встречаться с Банкимом Бабу. Он тогда жил на Bhabani Dutt's Street. Я его часто навещал; но нельзя сказать, чтоб мы много говорили. В моем возрасте впору было слушать, а не говорить. Мне страстно хотелось, чтобы у нас

как-нибудь вышла серьезная беседа, но моя робость всегда брала верх. Иногда я заставлял у него Санджиба Бабу, сидевшего, опираясь на подушку. Я всегда рад был его видеть: то была радостная душа. Он очень любил говорить, и приятно было его послушать. Те, кто читал его прозу, знают, как весело и воздушно она течет, подобно самой оживленной беседе. Очень немногие обладают таким даром вести беседу, и еще более немногие — умеют пользоваться им для литературных целей.

В это время впервые получил известность Пандит Шашадар. О нем я впервые услышал от Банкима Бабу. Если я не ошибаюсь, не кто иной, как сам Банким Бабу положил начало его известности. Курьезные попытки индийской ортодоксии оживить свой престиж с помощью западной науки вскоре стали находить отзвук по всей стране. Теософия за некоторое время до того уже подготовила почву для подобного движения. Банким Бабу, впрочем, никогда не примыкал вполне к этому культу. В его изложении индуизма в журнале *Прачар* нельзя найти никаких следов направления, возглавлявшегося Шашадаром, — это было бы немыслимо*.

Я тогда впервые начал выходить из своего уединенного уголка, как то видно из моего участия в тогдашней литературной полемике по этим вопросам. Я писал сатирические стихи, комедии, письма в редакции журналов. Так я, с высот моего замкнутого мира эмоций, спустился на арену и вступил в борьбу уже не на шутку.

В горячке спора я неожиданно столкнулся с Банкимом Бабу. История этого столкновения запечатлена на страницах *Прачар*'а и *Барати*; не стоит пересказывать ее здесь. В заключение наших споров Бан-

ким Бабу написал мне письмо, которое я, к сожалению, потерял. Если бы я мог привести его здесь, читатель увидел бы, с каким неподражаемым благородством Банким Бабу извлек из этого эпизода его ядовитое жало.

41. ОСТОВ ПАРОХОДА

Привлеченный одним газетным объявлением, мой брат Джьотириндра однажды отправился на аукцион и по возвращении уведомил нас, что купил стальной остов судна за 7 тысяч рупий. Остается только поставить машину и перегородки — и пароход будет в полной исправности.

Мой брат, должно быть, считал большим позором для наших соотечественников, что у них в полном ходу языки и перья, но нет ни одной пароходной линии. Я уже рассказывал о том, как он пытался изготовлять национальные спички, не зажигавшиеся, впрочем, сколько бы ими ни чиркали. Он пытался далее пустить в ход ткацкий станок, но после всех его усилий на станке было изготовлено лишь одно небольшое деревенское полотенце, и на том работа его остановилась. Теперь ему хотелось видеть, как режут воду индийские пароходы, и он купил пустой старый остов судна, который через некоторое время оказался заполненным не только машинами и перегородками, но и водою и обломками.

И все же мы не должны забывать, что все утраты и огорчения, связанные с его опытами, ложились на него одного, тогда как польза от этого эксперимента была для всей страны. Именно такие нерасчетливые, бескорыстные пионеры пролагают часто дорогу обычному типу хозяйства, основанному на прибыли. И хотя

прилив так же быстро спадает, как и приходит, он оставляет после себя плодоносный ил, обогащающий почву. Когда приходит время сбора урожая, никто не думает об этих пионерах; но те, кто при жизни с радостной готовностью поставил на карту и потерял все, что имел, не должны были бы опасаться, что после смерти потерпят еще и последнюю неудачу: будут забыты.

На одной стороне была европейская Компания Судходства; на другой—мой брат Джьотириндра; до какого ожесточения дошла борьба между двумя торговыми флотилиями, должно быть, еще не забыли обитатели Кульны и Барисаля. В азарте соревнования один пароход появлялся за другим, убыток следовал за убытком, а доходы все таяли, пока их уже не стало хватать для печатания билетов. То был настоящий золотой век для пароходного сообщения между Кульна и Барисалем. Пассажиры не только перевозились безвозмездно, но им еще подавалось на пароходе легкое угощение—тоже бесплатно! Затем сформирована была дружина добровольцев, которые с флагами и патриотическими песнями в торжественной процессии эскортировали пассажиров к индийским пароходам. Наплыв пассажиров не иссякал, но зато все другое иссякало с возрастающей быстротой.

Арифметика не поддавалась влиянию патриотических восторгов; и меж тем как под напевы патриотических песен все выше взвивалось пламя энтузиазма, в расчетных книгах на странице убытков трижды три каждый раз неизменно давало девять.

Одна из бед, вечно сопутствующих подобным неделовым людям, состоит в том, что они понятны для других, как раскрытая книга, сами-же никак не могут научиться понимать чужой почерк. А так как

для признания за собою подобного недостатка они должны затратить всю свою жизнь и все свои средства, им так и не удастся извлечь пользу из своего жизненного опыта. Пассажиры пользовались бесплатным угощением, пароходная команда также не обнаруживала признаков голодания; главный-же выигрыш, в виде полного разорения, приходился на долю моего брата, встретившего его с мужественным спокойствием.

Ежедневные военные реляции, поступавшие с поля сражения, держали нас в вечном возбуждении. Затем однажды пришло известие, что пароход *Свадеш* наткнулся на мост в Ховре и затонул. Этот убыток окончательно исчерпал средства моего брата, и ему ничего не оставалось, как ликвидировать все свое предприятие.

42. УТРАТЫ *

Между тем нашу семью навестила смерть. До того я никогда не встречался со смертью лицом к лицу. Когда умерла моя мать, я был еще совсем ребенком. Она хворала очень долго, и мы даже не знали, когда ее болезнь приняла роковой оборот. Она в течение всего этого времени обыкновенно спала на отдельной кровати в той же комнате, что и мы. Затем во время ее болезни ее раз взяли прокатить по реке, а по ее возвращении ей отвели комнату в третьем этаже внутренней половины дома.

В ту ночь, когда она умерла, мы крепко спали в нашей комнате внизу. Не знаю, в котором часу наша старая няня прибежала, плача и крича: «Ах, мои малютки, вы потеряли ваше все!» Моя невестка сделала ей выговор и увела ее из комнаты, чтобы избавить нас от такого потрясения ночью. Я был наполовину

разбужен ее словами и чувствовал, как у меня упало сердце, но не мог понять, что случилось. Когда нам утром рассказали об ее смерти, я никак не мог уяснить себе всего того, что это для меня значило.

Выйдя на веранду, мы увидали, что мать лежит на кровати, выставленной во двор. В ее наружности не было ничего, что говорило бы об ужасе смерти. В свете утреннего солнца смерть в тот день была прекрасна, как тихий, мирный сон, и пропасть между жизнью и ее отсутствием не открывалась нашему сознанию.

Лишь когда ее тело вынесено было через главные ворота и мы процессией последовали за ним к месту сожжения, меня вдруг охватила страстная скорбь при мысли о том, что мать уже никогда не вернется через эти ворота и не займет вновь своего обычного места в укладе домашней жизни. На склоне дня мы вернулись после совершения кремации домой; когда мы подошли к нашему дому, я взглянул вверх в направлении комнат моего отца. Он все еще сидел на передней веранде, погруженный в молитву.

Самая молодая из невесток нашего дома взяла на себя попечение об осиротевших детях. Она самостоятельно заботилась о нашей пище, одежде и всех других надобностях и непрерывно была с нами, чтобы мы не столь сильно чувствовали потерю. Одно из основных свойств жизни—это способность исцелять непоправимое, забывать незаменимое. В детстве эта способность сильнее всего, и никакой удар не проникает слишком глубоко, никакая рана не остается надолго открытой. Так первая тень смерти, упавшая на нас, не оставила мрака за собою; она исчезла так же не приметно, как и явилась,— то была ведь лишь тень.

Когда через годы я, как безумец, при первом появлении весны блуждал по лесам и лугам, с пригоршней полурасцветших цветков жасмина, перевязанных краем моего муслинового шарфа, и проводил их шелковистыми, закругленными, узкими почками по лбу, я вновь ощущал как бы прикосновение пальцев матери и ясно чувствовал, что нежность, обитавшая на кончиках тех милых пальцев, была совершенно такою же, как та, что цветет ежедневно в этих свежих почках жасмина; и что, знаем ли мы о том, или нет, эта нежность неистощимым избытком разлита по земле.

Знакомство мое со Смертью в возрасте двадцати четырех лет стало уже постоянным, и его удар прибавлялся каждый раз к каждой новой утрате во все удлиняющейся цепи слез. Беспечность ребенка с легкостью может увильнуть от любого несчастья, но с годами такой обход становится труднее; мне пришлось в тот день принять удар всею грудью.

Я до тех пор совершенно не подозревал о том, что возможен разрыв в непрерывно текущей череде радостей и печалей жизни. Поэтому я не видел ничего вне жизни, и жизнь исчерпывала для меня все. Когда же вдруг пришла смерть и мгновенно раскрыла зияющую расселину в ее обманчиво-непрерывной ткани, я почувствовал себя совершенно растерянным. Все вокруг, деревья, вода, земля, солнце, луна, звезды оставались столь же непоколебимо-истинными, как и раньше, а человеческая личность, так же подлинно существовавшая, как и они, но бывшая для меня, в силу бесчисленных соприкосновений с моей жизнью, сердцем и умом, еще бесконечно реальнее их, исчезла во мгновение ока, как сон. Как все это мне казалось невыносимо-противоречивым, когда я оглядывался

вокруг! Как мог я согласовать то, что осталось, с тем, что исчезло?

Ужасающий мрак, глянувший мне в очи тогда из этой расселины, продолжал притягивать меня к себе днем и ночью, по мере того, как шло время. Я все вновь и вновь возвращался и вглядывался в него, стараясь понять, что же осталось вместо того, что исчезло. Человек не может заставить себя поверить в пустоту; то, чего нет—то ложно; а что ложно, того и нет. Так мы вечно силимся найти что-либо там, где не видим ничего.

Как юное растение, окруженное темнотой, тянется, точно стоя на цыпочках, чтобы найти путь к свету, так, когда смерть внезапно окутывает душу мраком отрицания, она неустанно тянется к свету утверждения. Какая иная тоска сравнима с этой, когда мрак не дает найти выхода из мрака?

И все же посреди этого невыносимого страдания вспышки радости все вновь и вновь внезапно озаряли мою душу, поражая меня своею полною неожиданностью. Сама горестная весть о том, что жизнь не есть нечто навеки устойчивое и постоянное, облегчала состояние моего духа. Мысль о том, что мы не навсегда заключены в каменные ограды жизни, бессознательно вызывала во мне все вновь и вновь наплыв безотчетной радости. То, что было у меня, я вынужден был отдать: вот в чем был смысл терзавшей меня утраты; но когда я размышлял о постигнутой мною через это событие свободе, глубокий мир нисходил на меня.

Всепроницающее давление мировой жизни только потому не сплющивает нас, что оно удерживается в равновесии смертью, противостоящей жизни. Человеку не приходится нести ужасающего бремени

чем не сдержанной жизненной силы,—эта истина озарила меня внезапным откровением.

После того, как ослабла притягательность мира, красота природы приняла для меня более глубокий смысл. Смерть раскрыла мне правильную перспективу, в которой надлежит созерцать мир во всей полноте его красоты, и когда я увидел образ Вселенной на фоне смерти,—он показался мне ослепительно прекрасным.

В это время я был одержим какой-то особой эксцентричностью в образе мыслей и поведении. Мне казалось смешным, когда от меня требовали подчинения обычаям и моде дня, как если бы они были чем-то бесспорно и подлинно реальным. Я не мог принимать их всерьез. Я совершенно избавился от тягостных раздумий о том, что другие скажут обо мне. Я посещал фешенебельные книжные магазины с грубой простыней в качестве единственной верхней одежды и в паре туфель на босу ногу. В жару, в холод и в сырость я спал неизменно снаружи, на веранде третьего этажа. Там я мог обмениваться приветствием со звездами и встречать первый луч зари.

В ту пору я не знал никаких аскетических настроений. Я был скорее в праздничном состоянии,—ведь я открыл, что наставник Жизнь с его дубинкой на самом деле не существует, и чувствовал себя свободным от педантических правил его школы. Если бы мы, проснувшись однажды утром, заметили, что сила тяжести уменьшилась в несколько раз,—неужели мы попрежнему чинно выступали бы по улицам? Разве мы не предпочли бы для разнообразия, например, перескочить через многоэтажный дом, или, встретив по пути памятник—перелететь через него единым прыжком, вместо того, чтобы обходить его кругом? Вот

почему, когда тяжесть мирской жизни более не сковывала моих движений, я не мог уже двигаться по путям условностей.

Один на террасе, во мраке ночи, бродил я вокруг ощупью, пытаюсь отыскать надпись или знак на черно-каменных вратах смерти. Будил меня утренний свет, падавший на мое ничем не заслоненное ложе; открыв глаза, я замечал, что мгла вокруг меня рассеялась; и как из-под поднимающегося тумана вновь выступают в прежнем сиянии холмы, реки и леса, так омытая росой картина расprostертого передо мною мира казалась освеженной и по-новому прекрасной.

43. ДОЖДИ И ОСЕНЬ

Согласно индийскому календарю каждый год управляется особой планетой. Я заметил, что в каждый период жизни приобретает особое значение какое-либо одно из времен года. Когда я думаю о моем детстве, в памяти моей всплывают прежде всего дождливые дни. Подгоняемый ветром дождь затопил пол веранды. Все двери, ведущие с веранды в комнаты, плотно закрыты. Пири, старая судомойка, возвращается с рынка с корзиной, полной овощей и плодов, с трудом пробираясь через лужи, вся вымокшая от дождя. Я же бегаю вприпрыжку взад и вперед по веранде, охваченный беспричинной радостью.

И еще я вспоминаю: я в школе; занятия происходят в галерее, завешенной цыновками в промежутках между колонн. После полудня стали одна за другою собираться тучи, густо заволокшие теперь все небо; и вдруг, взглянув, мы видим, что дождь полился частыми толстыми струями; время от времени громко и подолгу гремит гром; кажется, будто какая-то без-

умная женщина ногтями молний раздирает небо от края до края; наша стена из цыновок трепещет под напором ветра, как вздуваемые паруса; мрак почти не позволяет читать. Тогда мы болтаем ногами, а буря шумит и бушует за нас. Дух же мой уносится далеко и блуждает по бесконечной топи, которую пересекает принц в сказке.

Припоминаю я и глубины ночей *Шравана*. Шум дождя, просачиваясь сквозь расщелины дремы, рождает в душе отрадный покой, что глубже самого крепкого сна. Просыпаясь изредка на мгновение, я молюсь о том, чтобы дождь продолжался и завтра, чтобы наша улица попрежнему стояла под водой, и купальная платформа пруда оставалась затопленной до самой верхней ступеньки.

Но в том возрасте, о котором я только что говорил, неоспоримо властвует Осень. Она живет под сенью ясного, прозрачного досуга *Ашвина*. И в расплавленном золоте осеннего солнца, нежно отражаемого свежей росистой зеленью, раскинувшейся вокруг, я хожу взад и вперед по веранде и сочиняю песни в ладе *Джогия*:

В этом утреннем свете я не знаю, чего ждет мое сердце.

Осенний день движется своим чередом; домашний гонг бьет двенадцать часов, лад изменяется, а дух мой попрежнему исполнен музыки, не оставляющей места призыву к работе или долгу, и я пою:

Что за праздную игру ведешь ты, мое сердце, в эти часы досуга!

Во вторую половину дня я лежу на белой клеенке на полу в моей комнатке и держу в руках альбом для рисования: не рисую, лишь играю карандашом.

Самое важное—то, что остается ненарисованным. А меж тем чистое сияние осеннего дня проникает сквозь стены этой калькаттской комнатки, наполняя ее, как бокал, золотым опьянением.

Не знаю почему, но все мои дни в этот период жизни я вижу как бы сквозь то осеннее небо, тот осенний свет — свет осени, когда созрели, подобно зернам на поле, мои песни; осени, наполнившей сиянием житницы моего досуга; осени, пронизавшей мой дух бесцельной радостью поэтического творчества.

Великое различие между Дождями моего детства и Осенью моей юности вижу я в том, что в эпоху первых я был объят внешней природой, которая приковывала к себе мое внимание множеством своих лицедеев, разнообразием своих постановок, многоголосицею своей музыки; тогда как торжество, которое справляется в сияющем свете Осени, творится в самом человеке. Игра облаков и солнечного света отступает на задний план, и ропот горя и радости заполняет душу. Ведь наш взор есть то, что придает лазури осеннего неба ее задумчивость и человеческую печаль, что придает страстность дыханию ее веяний.

Мои песни добрели ныне до обитателей людей. Здесь вольные движения уже не допускаются. Здесь одна дверь за другою, одна комната после другой. Как часто приходится нам возвращаться, поймав лишь отблеск света в окне, лишь отзвук флейт дворца, тоскливо звенящий в ушах! Дух сговорится с духом, воля с волей, но обмен дарами станет возможным лишь по преодолении многочисленных мучительных препятствий. Родник жизни, разбиваясь об эти преграды, брызжет и пенится смехом и слезами и пляшет и кружится в водоворотах—кто уследит его бег!

44. «ДИЭЗЫ И БЕМОЛИ»

Диэзы и бемоли — это серенада, исполняемая на улице перед жилищем человека, просьба о впуске и о месте в этой обители тайн.

Этот мир сладок; я не хочу умирать.
Я хочу быть в вечно-живой жизни человека.

Такова молитва, обращаемая индивидуальной жизнью к жизни универсальной.

В начале моего второго путешествия в Англию я познакомился на пароходе с Ашутешем Чаудури. Он тогда только что получил степень «магистра искусств» Калькаттского университета и направлялся в Англию, чтобы заняться юриспруденцией. Мы провели вместе только несколько дней по пути от Калькатты до Мадраса, но убедились, что глубина дружбы не зависит от продолжительности знакомства. За это короткое время он так привлек меня к себе своей простосердечностью, что весь предыдущий пробел в нашем знакомстве казался нам какой-то ошибкой памяти.

Когда Ашу* вернулся из Англии, он породнился с нами, женившись на моей племяннице. Ему к тому времени еще не удалось преодолеть все препятствия, ограждающие доступ к избранной им профессии, и потому он не был еще всецело поглощен ею. Денежные мешки его клиентов еще недостаточно распустили тесемки, сдерживающие их золото, и Ашу все еще оставался ревностным собирателем меда с цветков поэзии. Наполнявший его тогда поэтический дух ничуть не напоминал о заплесневевших сафьяновых переплетах библиотек, а благоухал ароматом неведомой заморской экзотики. Мы не раз по его приглашению

устраивали веселые пикники в этих удаленных по-
лесьях.

Он питал особое пристрастие к аромату француз-
ской литературы. Я тогда писал стихи, изданные по-
том под заглавием *Кари о Комаль* («Диэзы и бе-
моли»). Ашу находил сходство между многими из моих
стихов и старыми французскими стихотворениями,
которые он знал. По его мнению, общим свойством
всех этих стихотворений, нашедшим свое выражение в
каждом из них, было то, что поэта влечет к себе жизнь
вокруг него; во всех них основной мотив—невыпол-
ненное желание войти в эту более широкую жизнь.

«Я размещу эти твои стихи в надлежащем порядке
и издам их для тебя», сказал Ашу; и дело поручено
было ему. Стихи, начинавшиеся словами «Этот мир
сладок», он считал ключом ко всему сборнику, и по-
тому поместил их на первом месте.

Очень возможно, что Ашу был прав. Когда в дет-
стве мои движения ограничены были пределами дома,
я отдавал мое сердце внешней природе во всем ее
многообразии и с жадным любопытством наблюдал
ее сквозь отверстия в парапете нашей внутренней
верхней террасы. В молодости меня с тою же силой
привлекал к себе человеческий мир. На него я тоже
смотрел тогда извне, с края дороги. Стоя на берегу
и тоскливо протягивая руки, дух мой как бы взывал
к лодочнику, пересекающему реку. Ибо Жизнь моя
жаждала вступить на свой путь.

То, что мешало мне погрузиться в пучины жизни,
было во всяком случае не мое изолированное обще-
ственное положение. Я не вижу, чтобы те из моих
соотечественников, которые все время проводили в
гуще общественной, действительно вступили с
жизнью в более живое и интимное соприкосновение,

чем я. Жизнь нашей страны имеет свои высокие бе-
рега, свои лестницы; на ее темные воды падает про-
хладная тень древних деревьев, а из лиственной кущи
над головой *коэль* шлет, как и встарь, свои волшеб-
ные песни. Но при всем том, это—стоячая вода. Где
ее течение, где ее волны, где шум морского прибоя?

Доносился ли ко мне тогда из соседних домов по
ту сторону нашей улицы отголосок того победного
пэана, с которым река, падая и вздымаясь волна
за волною, пробивает себе через каменные преграды
дорогу к морю? Нет, ни звука! Жизнь моя, в своем
уединении, изнывала, тщетно ожидая приглашения
туда, где свершается празднество мировой жизни.

Глубокое уныние одолевает дух, дремлющий в сла-
дострастной праздности уединения, ибо он лишен
полноты общения с жизнью. От этого состояния я
всегда болезненно стремился освободиться. Мой дух
отказывался поддаться дешевому опьянению полити-
ческих движений тех дней, совершенно лишенных,
по всей видимости, силы национального самосозна-
ния и бесконечно чуждых действительному служению
родине. Меня терзало яростное нетерпение, невыно-
симая неудовлетворенность мною самим и всем, что
вокруг меня. Уж лучше, говорил я себе, быть бы
мне арабом-бедуином!

Другие части света исполнены шума и движения
вольного пира жизни, а мы, как нищенка, стоим
поодаль и с вожделением глядим в ту сторону. Нам
не во что облачиться, как подобает случаю, и мы
не смеем войти. Только в стране, где господствует
дух разъединенности и бесчисленные мелкие пре-
грады отделяют одного от другого, этому стремлению
воплотить в своей жизни широту жизни мировой—
суждено остаться неудовлетворенным.

Я стремился в моей молодости с тем же напряжением к миру людей, как в детстве тянулся к внешней природе из того мелового круга, что обведен был вокруг меня слугами. Каким драгоценным, каким недостижимым, каким далеким казался он мне! И все же, если мы не в силах вступить в соприкосновение с ним, если прегражден путь его дыханию, его струям, если не снуют путники туда и обратно—тогда мертвые вещи, что скопляются вокруг нас, становятся навеки неустранимыми и все более нагромождаются и удушают всякую жизнь.

Во время Дождей нет ничего в природе, кроме темных туч и ливней. Осенью в небе также играют свет и тени, но они не всепоглощающи,—ибо наливаются надеждою поля. Так и в моей поэзии, когда господствовало время Дождей, клубились только пары моей фантазии, изливавшиеся в грозах и ливнях; мой способ выражения был туманен, мои стихи дики. Но в *Диэзах и бемолях* моей Осени не только играют в небе свет и тени, но виднеются и поднимающиеся из земли всходы. В общении с миром реальности как язык, так и метр моих стихов приобрели определенность и разнообразие.

Так кончается Вторая Книга. Настают для меня дни встреч—внутреннего и внешнего, своего и чужого. Странствие моей жизни должно быть завершено через обители людей. И добро и зло, радость и горе, которые ей предстоят, уже не будут созерцаться ею, как картины, издали. Что за успехи и неудачи, победы и поражения, столкновения и смешения будут здесь!

Я не в силах раскрыть и развернуть то высокое искусство, с которым Вождь моей жизни радостно ведет меня через все преграды, сопротивления и

извивы на ее пути—к совершению ее сокровенного смысла. И если я не могу разъяснить тайну этого замысла, то все иное, что я могу попытаться сказать, будет лишь сбивать с дороги на каждом шагу. Всякое стремление растолковать картину соприкоснет нас с ее тленом, но не приобщит нас к радости художника.

Так, проводив тебя, читатель, до дверей внутреннего святилища, я на его пороге покидаю тебя.

Перевел с английского

М. И. Тубянский

ПРИМЕЧАНИЯ

Нижеследующие примечания представляют собою краткие объяснения тех индийских имен и терминов, которые необходимы для понимания текста, а также и ряд иных пояснений, на которые в тексте указывает звездочка. Они по большей части не включают объяснения географических и ботанических терминов, т. к. без карт и иллюстраций оно вряд ли может иметь смысл. Держать перед собою карту Индии при чтении некоторых глав «Воспоминаний» читателю полезно. Не объяснены также столь общеизвестные индийские термины, как *санскрит* и *каста*; их объяснение легко найти в любом справочнике, в роде словаря Павленкова и т. д. В примечаниях цифры в скобках означают номер абзаца на странице.

К гл. 1-ой. К сопоставлению памяти с живописцем срв. в «Младенчестве» В. Иванова:

Как живописец по холсту,
Так по младенческому злату
Воспоминанье - чародей
Бросает краски — все живей.

К стр. 23 (з). В бенгальской фразе *Дождь падает, лист дрожит* глагольные формы образуют рифму.

Ка-га, kha-la—произвольные комбинации из двух слогов, предназначенные для упражнения в чтении.

К стр. 24 (1). *Планшетка*—прибор, употребляемый для опытов в роде спиритических; состоит из небольшой деревянной дощечки на трех ножках, две из которых снабжены колесиками,

а третья карандашом; на дощечку кладут руки, и карандаш чертит на подкладываемой бумаге линии или даже слова.

К стр. 24 (з). *Дождь весело барабанит и т. д.*—по-бенгальски рифмованная фраза.

К стр. 25 (з). *Афоризмы Чанакьи*—древнеиндийский сборник изречений, относящихся большей частью к области т. н. житейской мудрости.

— — *Рамаяна* Криттиваса—есть одна из многих бенгальских переделок знаменитого санскритского эпоса (срв. предисл., стр. 14), и притом наиболее знаменитая в Бенгалии. Автор ее жил в XIV веке. Его книга пользуется громадной популярностью, и еще в наше время она ежегодно расходуется приблизительно в ста тысячах экземпляров.

— (4) *Веранда*—крытая колоннада. Дом, где жила семья Тагоров, представляет собой трехэтажное здание, разраставшееся постепенно по мере роста семьи; оно включает внутри несколько четвероугольных дворов; снаружи оно окружено длинными верандами и более узкими галереями вдоль внутренних стен дворов; с веранд ведут двери в отдельные комнаты. Внутренняя половина дома с внутренним садом принадлежит женщинам; внешняя, с внешним садом,—мужчинам.

К стр. 28 (1). *Сита*, супруга Рамы, была похищена царем демонов, Раваной; повесть о ее страданиях занимает в *Рамаяне* большое место. *Лакшмана*—брат Рамы.

— (2) *Баньяновое дерево* отличается громадными размерами, а также тем, что ветви его, свисая до земли, входят в нее и вновь вырастают из нее, как новые деревья, так что все дерево образует как бы целый лесок.

К стр. 31 (2). *Груда хижин*.—До сих пор одну из ненормальностей в устройстве Калькатты, как города, составляют так называемые *басти*—особые кварталы, расположенные бок о бок с гордыми дворцами и сплошь занятые жалкими туземными лачугами.

— — *Крыши* на индийских домах большею частью плоские; на них ведут лестницы, над отверстиями которых на крыше возвышается небольшая крытая будка, называемая «соколиным домиком».

— — *Чай чури чай*—Не надо ль запястий, не надо ль?

К стр. 34 (2). *Дворец царя*—для индийского ребенка означает примерно то, что для европейского—волшебная страна.

К стр. 36 (2). Месяц *Маг* (*Mâgh*) соответствует январю—февралю.

К стр. 37 (2). *Пандит* — 1) туземный ученый, начетчик; 2) ученый и учитель вообще.

К заголовку гл. 4-ой. *Сервократия* — господство слуг.

К стр. 39 (3). Загрязнение, которого Ишвар боится, надо понимать не столько как загрязнение в санитарном смысле слова, сколько в смысле религиозных правил «чистоты».

К стр. 40 (2). *Махабхарата* — второй, на ряду с Рамаяной, великий индийский эпос.

— (3) *Куша* и *Лава*, близнецы, сыновья Рамы, гnevаются на отца за его нежелание признать сохранение верности ему их матерью во время ее пребывания в плену у Раваны.

— (4). *Кишоринат Чаттерджи* — сокращенно *Кишори* — старый последователь и приближенный Дебендраната.

— *Дашурай* (собственно Дашарати Рай) — бенгальский поэт начала XIX века, сочинивший между прочим поэму о вышеупомянутых близнецах Куше и Лаве.

— (5) *Шастра* — наука, научная система или трактат.

К стр. 41 (3). *Лучи* (бенгальское слово) означает лепешку из муки.

— — «Осквернение» здесь по традиционным взглядам исходило бы от пищи и прикасающейся к ней руки.

К стр. 43 (1). «Нормальная» — т. е. «образцовая» школа.

К стр. 45 (4). *Паяр* — название наиболее употребительного размера бенгальских эпосов.

К стр. 47 (2). *Раби* — сокращенная форма имени *Рабиндранат*. — *Бабу* — по-бенгальски означает «господин».

— (3). *Dvirepha* — означ. буквально «слово, имеющее два р», под чем подразумевается слово *bhramara* (пчела). Употребление этого слова свидетельствует об особой вычурности языка, и в стихах, писанных мальчиком, могло вызывать только смех.

К стр. 48 (2). *Мегнадбад*, т. е. «Убиение Мегнадвады» (Мегнадвада — сын Раваны) — эпическая поэма, сочиненная бенгальским поэтом Мадусудан Даттом (1824 — 1873) и вышедшая в свет в 1861-м году. До Тагора ее автор считался наиболее выдающимся из новых бенгальских поэтов.

К стр. 49 (2). *Сутры* — научные правила, выраженные в виде сжатых формул.

К стр. 50 (1). *Евразийский* — происходящий от европейца с одной стороны и азиата (в д. случае — индуса) — с другой.

— (2). Уличка эта ведет под прямым углом от веранды переднего фасада дома к одной из больших улиц Калькатты.

— (3) *Яма* — индийский бог смерти.

К стр. 52 (2). *Сарасвати* — индийская богиня науки и учения.

К стр. 54 (1). *Индра* — один из главнейших богов древнеиндийской мифологии.

— (2). *Якши* — мифические существа, в роде эльфов.

К стр. 56 (2). *Джорасанко* — название того квартала Калькатты, в котором находится дом семьи Тагоров.

— (3). *Байтарани* — река, текущая в аду, согласно индийской мифологии. Здесь по смыслу она отвечает Лете.

К стр. 59 (3). *Ишварчандр Бидьясагар* (1820 — 1891) — один из наиболее выдающихся бенгальских прозаиков; его сентиментальная повесть *Ситар Банбас* (1862) описывает страдания Ситы во время ее жизни в лесу.

К стр. 60 (3). *Браджа* — местопребывание *Кришны* (см. предисловие) в молодости; в индийских поэмах часто описывается печальный миг расставания Кришны с его товарищами по играм, когда юному богу настает пора их покинуть.

К стр. 62 (2). *Дед Рабиндраната* есть упомянутый в предисловии (см. стр. 16) Двариканат Такур.

К стр. 65 (3). *Мунши* — арабское слово, перешедшее, через посредство персидского, в индийские языки; означает 1) писец, переводчик; 2) учитель языков, в особенности персидского и арабского.

К стр. 70 (1). *Ранджит Синг* (1780 — 1839) — знаменитый военный вождь сикхов (см. предисл., стр. 15).

— (2). *Бима* и *Арджуна* — братья-воины, герои *Махабараты*.

— (4). *Аттар* — душистое масло, с раствором эссенции дамасской розы.

— — *Кабулийцы* — афганцы.

К стр. 72 (2). *Чога* — свободная верхняя одежда.

— *Пан* — пряности, обернутые в листочки бетелевой пальмы: легкое наркотическое вещество, которое в Индии принято жевать.

— (3). Семья Тагоров принадлежит к *брахманской* касте; для членов этой касты издревле существует *обряд посвящения*, правила которого относятся еще к ведическим временам, т. е. к эпохе составления того сборника древних канонических текстов, что носит имя *Веда*. При посвящении молодой брахман получает «священный шнур», служащий внешним признаком этой касты. Дебендранат, будучи одновременно и поклонником старины, и новатором, инсценировал

обряд посвящения по своему; так, мальчики должны были петь молитвы из составленного им самим молитвенника. Тексты в этом молитвеннике были заимствованы, большей частью, из *Упанишад* — древних религиозно-философских трактатов, включенных в состав *Вед*.

К стр. 73 (1). Для не-брахманов считается греховным видеть посвящаемых прежде, чем обряд посвящения закончен.

— (2). Шарадвата и Шарнгарава — два мальчика-послушника в пустыни у отшельника Канвы, упоминаемые в знаменитой «Шакунтале» Калидасы (см. прим. к стр. 74).

— (3). *Гаятри* — название священного санскритского стиха из *Ригведы* (3. 62. 10), который каждый брахман обязан повторять ежедневно во время утренних и вечерних молитв, а также и при других случаях. Стих этот гласит: Tat Savitur varenyam bhargo devasya dhîmahî Dhiyo yo nah praso-dayât, и означает: «Сию высокую славу жизненосца-бога помыслим! Да укрепит он наши помыслы!» Перед этим стихом обычно еще произносятся слова «Bhur, Bhuvah, Svah», понимаемые как восклицания, обращенные к земле, эфиру и небу.

К стр. 74 (1). *Калидаса* — знаменитейший поэт классической санскритской литературы, живший в V в. по Р. Х., автор трех драм, в т. ч. известной *Шакунталы*, двух больших эпических поэм («Род Рагу» и «Рождение бога войны») и небольшой элегии под названием «Облако-Вестник» (по санскритски: Megha-dûta). «Облако-Вестник» переведен с оригинала на русский язык П. Риттером (Харьков, 1914); драмы переведены с европейских переводов К. Бальмонтом.

— (2). *Old Curiosity Shop* — повесть Чарльза Диккенса.

— (3). *Гитаговинда* — срв. предисл. стр. 14.

К стр. 75 (3). *Мандакини* — название реки.

— (4). *Катака* — народный сказитель или рассказчик.

К стр. 76 (3). Почтение к *корове* считается обязательным в традиционном индуизме; точно также и почтение к касте брахманов. Так *корова* и *брахман* стали боевыми лозунгами современной индусской ортодоксии.

К стр. 77 (2). *Взятие праха от ног* — обряд почтительного приветствия, состоящий в том, что совершающий его сначала прикасается рукою к ногам приветствуемого им лица, а затем ею же к своему лбу.

К стр. 78 (2). Около *Больпура* находилась излюбленная Дебендранатом местность, Шантиникетан, в которой ныне Рабиндранат устроил школу и международный университет.

К стр. 83 (2). *Багавадгита* — см. предисл., стр. 14.

— (3). *Леттсовские дневники* — особые записные книжки.

— — Царь *Притвирадх* (XII в.) один из последних независимых индийских царей, побежденный мусульманами при их завоевании Индии.

К стр. 83 (4). По поводу *Амритсара* и т. д. срв. предисл., стр. 15.

К стр. 85 (1). *Тамбура* — особый струнный музыкальный инструмент.

— (5). *Джьоти* — сокращение имени Джьотириндра.

К стр. 86 (2). В бенгальском литературном языке имеется громадное количество слов, непосредственно заимствованных из санскрита.

К стр. 87 (3). *Джампан* — носилки, паланкин.

К стр. 90 (4). *Дорога Больших Стволов* — знаменитая старинная дорога, тянущаяся вдоль Ганга почти во всю ширину Северной Индии.

К стр. 91 (2). *Ади Брахма Самадж* — см. предисл., стр. 16.

К стр. 92 (3). *Даккский муслин* славился по всей Индии своей тонкостью; кайма муслинового шарфа была кружевной.

К стр. 97 (2). Санскритский эпос *Рамаяна* приписывается мудрецу (= махарши) *Вальмики*.

— — *Мадусудан* — значит убийца *Маду*; это один из эпитетов бога Вишну, и указывает на его функцию укротителя гордости, воплощением которой был в мифе демон *Маду*.

К стр. 100 (2). *Нирод*, по-санскритски *Нирада*, означает *облако*; это есть, собственно, сложное слово, в котором *нира* — вода; *да* — дающий.

— (3). *Карма* — значит «дело», «поступок», но в специальном смысле означает *совокупность дел*, совершенных человеком за время его жизни; согласно индийскому учению о воздаянии, эта «совокупность дел» после смерти человека определяет его судьбу в его же следующем рождении. Таким образом понятие *кармы* неразрывно связано с верою в «переселение душ». Тагор, не признающий веры в «переселение», не признает всерьез и *кармы*; здесь, впрочем, и из связи текста видно, что он шутит.

К стр. 101 (2). *Раджкришна Мукерджи* — известный бенгальский ученый и писатель, сотрудник Банкима Чандра Чаттерджи (см. прим. к гл. 40).

— (4). *Дина Банду Митра* (1829—1873), знаменитый бенгальский драматург, сатирик и юморист.

К стр. 102 (2). *Сари*—обычное женское одеяние, род платка или плаща.

— (3). *Раджендралал Митра*—известный бенгальский археолог и литератор (см. гл. 35).

К стр. 103 (2). *Бихари Лаль Чакрабартти*—выдающийся бенгальский лирик.

— — *Павел и Виргиния*—произведение Бернардэна де Сэн-Пьерра.

— (3). Относительно Банкима Чандра Чаттерджи и т. д. срв. примеч. к гл. 40.

К стр. 104 (2). *Видьяпати*—главнейшая фигура вайшнавитской поэзии; см. предисловие, стр. 14—15. Собственно, Видьяпати писал на майтильском языке; но в бенгальской литературе именем «стихотворений Видьяпати» обозначаются стихотворения, ему в действительности не принадлежащие, а отчасти написанные в подражание ему, отчасти же значительно превосходящие его стихи в поэтическом отношении и лишь близкие ему по мотивам. Написаны они на старинном бенгальском языке, но значительно видоизмененном; язык этот одно время по недоразумению слыл за смешанный майтильско-бенгальский.

К стр. 105 (2). *Рам Нараян Таркаратна* (1823—1885)—первый, по времени, драматург в бенгальском литературном движении XIX века.

— — *Викраморваши*—драма Калидасы.

— О *Хинду Мела*—срв. прим. к стр. 121.

К стр. 106 (2). *Гунендра*—отец известных современных индийских художников, Гаганендры и Абаниндры.

К стр. 107 (3). *Клайв*—английский военно-политический деятель в Индии (XVIII в.).

К стр. 108 (3). Старший из братьев Рабиндраната, *Движендранат*, известен более всего как философ; один из его главных философских трудов, *Tattva-vidyâ*, еще в 1871 году был издан по-английски под названием «*Ontology*».

К стр. 109 (3). *Маджлиш* (арабск.)—по-бенгальски означает случайное собрание, не по приглашениям.

К стр. 111 (1). О вайшнавитских поэтах срв. предисл., стр. 14—15.

— (3). *Бангадаршан*—срв. прим. к гл. 40.

К стр. 112 (2). Джьотириндра старше Рабиндры на 12 лет.

К стр. 113 (3). Определенной нотной системы тогда не было. Одна из наиболее распространенных теперь систем

музыкального письма придумана как раз тем братом Рабиндры, о котором в тексте идет речь.

К стр. 114 (1). *Рождение бога войны*—срв. прим. к стр. 74.

— — *Уэкфильдский викарий*—произведение Оливера Гольдсмита (1728—1774).

К стр. 114 (3). *Невестка*—здесь имеется в виду жена Джьотириндры.

К стр. 115 (3). *Арья Даршан*—один из лучших бенгальских литературных журналов того времени.

К стр. 116 (1). В индийской вокальной музыке композитор сочиняет только остов или основную линию мелодии, певец же должен импровизировать, развивая ее по своему. В описываемом случае сочинитель мелодии имел в виду лишь обозначить указанную «основную линию».

— (2). Упоминаемыми в тексте стихами Калидасы начинается его поэма *Kumâra-sambhava*, т. е. *Рождение бога войны*; они гласят:

Asty uttarasyâm diśi devatâtma
Himâlayo nâma nâgâdhirâjâ

и означают:

Есть в северной стране божественный—

Гималая по имени — царь гор.

К стр. 117 (4). *Бубанмохини Пратиба*—означает «Гений Бубанмохини», если второе слово принять за имя автора.

— Дарить предметы одежды в Индии принято в таком же смысле, как в Европе — цветы и т. п.

К стр. 118 (2). О В. А. срв. прим. к стр. 198.

— (3). О майтильском языке срв. прим. к стр. 104.

К стр. 119 (2). *Томас Чаттертон* (1752—1770) известен своими гениальными мистификациями—подделками старинных поэм. Он покончил жизнь самоубийством.

— (3). Приведенные слова из стихотворения означают: *В густой куще цветов...*

— (4). Старинные вайшнавитские поэты обычно вводили свое имя в последнюю строфу стихотворения, что заменяло им подпись. — Имя *Бану Синха* приблизительно равнозначно имени *Рабиндра*.

К стр. 120 (1). *Чандидас*—один из крупнейших представителей вайшнавитской лирики, на ряду с Видьяпати.

— (3). О *Барати* срв. главу 23. — Др. Нишиканта Чаттерджи — известный, хотя и незначительный, литератор, автор работ об индийском театре и др. Он много ездил по Европе и побывал, между прочим, и в России.

К стр. 121 (2). Слова *Хинду Мела* означают: Индийская ярмарка.

— (3). *Дарбар* — церемония коронования вице-короля Индии.

— *Баратер Джая* — означает: Слава Индии.

К стр. 122 (1). *Набин Чандр Сен* — выдающийся бенгальский поэт, автор больших эпосов о Кришне и о Будде.

— (2). О *Раджнараяне Басу* срв. прим. к стр. 127. *Мантра* — стих.

К стр. 123 (2). *Форт Уилльям* — старинная крепость в Калькатте. В ней имелось учебное заведение и типография.

— (3). *Доти* — индийское одеяние, в роде юбки.

— *Солатопи* — особая шляпа.

К стр. 124 (2). *Шикар* — охота (персидско-бенгальское слово).

— (3). *Маниктала* — пригород Калькатты.

К стр. 125 (2). *Земиндар* — землевладелец, помещик (перс.-бенг.).

К стр. 126 (1). *Кангра* — особого рода прутья, из которых делается в Бенгалии обычная домашняя метла. В тексте намек на действие розог на спину.

К стр. 127 (2). *Раджнараян* (или: — *айн*) *Басу* — один из главных деятелей Ади Брахма Самаджа и сотрудник Дебендрата, выдающийся публицист.

Ричардсон — один из главных руководителей того учебного заведения, называвшегося Hindu College, которое существовало в Форте Уилльям с 1800 по 1854 год.

К стр. 128 (1). *Хари боль!* — возглас: *Призывайте имя Хари!* (*Хари* — Вишну), обращаемый участниками похоронной процессии к прохожим и друг к другу.

К стр. 132 (1). *Падишахи* — прежние мусульманские владетели Индии.

— (2). *Амару-шатака* — «Сто стихотворений Амару». Амару — знаменитый санскритский лирик.

К стр. 135 (2). Здесь имеется в виду жена Джьотириндры. *Череп* и т. д.: в те дни была большая мода на френологию.

К стр. 143 (1). *Бехага* — определенный лад в индийской музыке; срв. прим. к стр. 173.

К заголовку гл. 26-й. *Локен* — сокращенная форма имени Локендра.

К стр. 150 (2). Богиня *Сарасвати* изображается обычно одетою в белое одеяние и сидящею посреди множества лотосов.

— (3). *Типпера* — по-санскритски *Трипура* — маленькое «независимое» государство (население составляет несколько

более двухсот тысяч человек), прилегающее к Бенгалии. — *Раджа* — царь.

К стр. 155 (1). *Шьяма* — темная, эпитет богини *Кали*, она же *Дурга* (см. прим. к стр. 172 и предисл., стр. 13).

К стр. 158 (1). *Махадева* — прозвище бога *Шивы* (срв. предисл., стр. 13). *Шива* часто представляется в индийской мифологии в образе аскета, предающегося созерцанию.

К стр. 158 (2). *Танпура* — то же, что *тамбура* (срв. прим. к стр. 85).

К стр. 160. *Вальмики Пратиба* означает *Гений Вальмики*. Сюжет этой пьесы заимствован из легенды о поэте Вальмики, который сначала был главарем разбойников, но в котором внезапно пробудилось сострадание, когда он увидел, как пара журавлей скорбит по их товарищу, убитом охотником; при виде этой сцены у Вальмики вырывается жалобная фраза, сама собою принимающая размеренную форму. Так невзначай создается тот размер, в котором затем написана была *Рамаяна*.

К стр. 169 (1). *Лакшми* — богиня богатства.

— (3). *Кришна Мохан Банерджи* — видный бенгальский ученый, христианин, составитель Бенгальской Энциклопедии.

К стр. 170 (3). *Индостанский стиль* в музыке здесь понимается преимущественно как противоположность дравидскому стилю, преобладающему на юге Индии.

— *Ниду Бабу*, собственно *Рам Ниди Гупта*, — выдающийся бенгальский лирик (1738—1825).

К стр. 171 (3). *Бауль* — член особой секты странствующих аскетов.

К стр. 172 (3). В Индии понимание божества как матери весьма распространено. В бенгальской религиозной литературе оно богато представлено, особенно поэтом Рам Прасад Сеном (1718—1775), поклонником богини *Дурга*.

К стр. 173 (1). *Лотосы*... — здесь имеется в виду понятное из текста индийское поверье.

— *Пурави*: многие из индийских музыкальных ладов считаются отвечающими известным временам года или часам дня. Так, *Пурави* отвечает началу вечера, а *Бехага* — поздним часам вечера.

К стр. 176 (2). *Рамеш Чандр Датта* — известный писатель, автор исторических трактатов и повестей, написанных частью по-бенгальски, частью по-английски; из последних наиболее известностью пользуется двухтомное сочинение «*Civilization in Ancient India*». — О *Банхиме Бабу* срв. гл. 40.

К стр. 176 (3). Согласно индийской мифологии, в мире имеется 7 морей и 13 рек.

К стр. 181 (2). *Кинчинджунга* — одна из вершин Гималаев.

К стр. 186 (2). О «трех главах» срв. предисл., стр. 15.

К стр. 187 (1). *Сахитья Паришат* — современное бенгальское литературное об-во.

К стр. 189 (2). *Кристо Дас Паль* — редактор журнала *Hindu Patriot*, известный политический публицист.

К стр. 190 (1). В санскритской поэзии очень часто говорится о ветрах, дующих с гор *Малая* и несущих с собою освежающий аромат растущих на них санталовых деревьев.

К стр. 193 (3). *Шиваджи* — индийский национальный герой семнадцатого века (1627—1680), основавший самостоятельное индусское государство Махраттов, которое просуществовало с 1659-го по 1818 год.

К стр. 192 (2). Драма *Пракритир Пратишод* издана по английски под названием *Sanyasi* и под тем же названием переводилась и с английского на русский язык.

К стр. 194 (1). О *Кришне* срв. предисл. стр. 14.

— (4). О *басти* срв. прим. к стр. 31.

К стр. 197 (1). Из этого сна создан сначала рассказ *Раджарши*, а затем из него же выросла и драма *Жертвоприношение*, имеющаяся и на русском языке, в переводе с английского. Она ставилась в Ленинграде в «Экспериментальном Театре». — О Трипуре срв. прим. к стр. 150.

К стр. 197 (3). В Индии считается *шесть времен года*: Весна, Лето, Дожди, Осень, Росы и Зима.

К стр. 198 (2). В. А. — титул бакалавра в английских и англо-индийских университетах (*Barrister of Arts*).

К стр. 199. *Банким Чандр Чаттерджи* (1838—1894) наиболее выдающийся бенгальский прозаик XIX века; в 1872-ом основал журнал *Бангадаршан*, в котором печатал ряд своих романов и статей. Чаттерджи также автор знаменитого ныне индийского национального гимна *Банде Матарам* (перевод этого гимна с бенгальского языка сделан автором настоящих строк и напечатан в журнале «Восток», № 2). В религиозной области Чаттерджи придерживался консервативных взглядов, чем и вызван был конфликт между ним и Рабиндранатом.

К стр. 199 (2). *Чандранат Басу* — один из главнейших сотрудников журнала *Бангадаршан*, известный публицист и критик. Басу — его фамилия; Бабу — господин.

К стр. 202 (1). *Санджиб Бабу* — собственно Санджиб Чандр Чаттерджи — писатель, брат Банкима Чандра Чаттерджи.

— (2). О пандите *Шашадаре* и о теософии срв. предисл., стр. 17.

К стр. 205. В главе 42-й речь идет сначала о смерти матери, а затем — о смерти жены Джьотириндры.

К стр. 211 (2). *Шраван* — месяц, отвечающий июлю-августу; это наиболее дождливый из всех месяцев. *Ашвин* соответствует сентябрю-октябрю и составляет время каникул в Бенгалии.

К стр. 213 (3). *Ашу* — сокращение имени Ашутос. Ашутос по возвращении из Англии женился на племяннице Рабиндраната, по имени Пратиба (ср. главу 29).

К стр. 215 (1). *Коэль* — индийская певчая птица, соответствующая, по своей роли в поэзии, нашему соловью (по-санскритски *кокила*).

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПЕРЕВОДУ.

I. Хронологическая схема жизни и литературной деятельности Р. Тагора¹⁾.

(В скобках указаны те названия, под которыми произведения Тагора издавались по-английски или по-русски).

- 6/у 1861 Рождение.
 20/ix 1877—4/xi 1878 Первое путешествие в Англию.
 1881 *Вечерние Песни*.
 1883 Пребывание в Карваре. — Женитьба. — *Месть Естества*. («Саньяси», он же «Отшельник».)
 1885 Смерть жены Джьотирииндраната Тагора.
 1891—1895 Жизнь в усадьбе Шилейда на Ганге; участие в журнале *Садана*; первая группа больших драм, в т. ч. *Бисарджан* («Жертвоприношение»), *Читрангада* («Читра»). Начало появления *Рассказов*.
 1897—1900 Ряд стихотворных сборников.
 1899 *Каника*, сборник афоризмов («Stray Birds», он же «Птицы залетные», он же «Фрагменты».)
 1901 Возобновление журнала *Бангадаршан* под ред. Тагора. Роман *Гора*. — Лирич. сборник *Найбедья*. Основание школы в *Шантиникетане*, близ Больпура.
 1902 Смерть жены, сына и дочери. Лирический сборник *Смаран*, памяти жены.
 1903 Издание собранных стихотворений под ред. Мохита Бабу. Роман *Крушение*.
 1904 *Свадеш Санкальпа* — сборник национальной лирики.

¹⁾ Сюда вошли только некоторые из важнейших литературных произведений, но далеко не все. Тагором выпущено около 20 лирических сборников, около 20 драм, 3 романа и множество рассказов, статей и писем.

- 1905 *Кеа*, т. е. «Переправа», лирич. сборник. Смерть младшего сына. Смерть отца. Политическая активность в связи с изданным британским правительством актом об административном разделении Бенгалии.
 1909 *Гитанджали*, лирич. сборник. Начало 17-титомного издания речей.
 1910 Драма *Раджа* («Король темного покоя»). Деятельность по реорганизации Ади Брахма Самаджа.
 1912 Драма *Почта* («Письмо царя»). — *Воспоминания*. Путешествие в Англию.
 1913 Первое издание «Гитанджали» по-англ. Присуждение Тагору Нобелевской премии по литературе. Издание англ. сборника переводов под названием «The Gardener» («Садовник») и философских лекций под заглавием *Sâdhanâ*.
 1914 Награждение Тагора титулом сэра. Лирический сборник *Балака*, т. е. «Журавли».
 1916 Роман *Дом и Мир*.
 1916—1917 Путешествие в Японию и Америку. Лекции о *Национализме* в Японии и Америке и о *Личности* в Америке.
 1918 Смерть дочери. Лирический сборник *Палатака*, т. е. «Беглец».
 1919 Отказ Тагора от титула сэра в связи с кровавыми событиями в Амритсаре.
 1920 и сл. Участие в журнале *Сабудж Патра*.
 1920—1921 Путешествие по Европе.
 1922 Драма *Мукта-Дара*, т. е. «Освобожденная Река». Деятельность по организации университета в Шантиникетане.

II. Образец песни Тагора. (К стр. 171).

Рабиндранат Тагор не только поэт, но и композитор; мы даем в виде образца сочиненной им мелодии ту песню, на его же слова, о которой он говорит в главе 31-й.

♩. = 60. *Andante.*

Ā - mi chi - ni go chi - ni to - mā - re O go bi - de shi -
 - ni Tu - mi thā - ko sin - dhu pā - re O go bi - de - shi -
 - ni To - mā - ye de - khe - cchi sha - ra - da prā - te to - mā - ye de - khe - cchi mā - dha - vi
 rā - te to - mā - ye de - khe - cchi . . . hri - di mā - jhā -
 - re hri - di mā - jhā - re O go bi - de - shi -
 - ni Ā - mi ā - kā - she pā - ti - yā kām su - ne - cchi su - ne - cchi to - mā - ri
 gān ā - mi to - mā - re sam - pe - cchi prān . . . O go bi - de - shi -
 - ni Bhu - ba - na brah - mi - yā se - she Ā - mi e - se - cchi nu - ta - na
 de - she Ā - mi a - ti - thi to - mā - re dwā - re, O go bi - de - shi - nī.

Ниже мы даем приблизительную транскрипцию бенгальского произношения этого стихотворения и его перевод:

Оригинал.

Ами чини го чини томарэ
 О го бидэшини!
 Туми тако шинду парэ
 О го бидэшини!
 Томай дэкечи шородо пратэ
 Томай дэкечи мадоби ратэ
 Томай дэкечи хриди маджарэ
 О го бидэшини!
 Ами акашэ патия кан
 Шунэчи шунэчи томар-и ган!
 Ами томарэ шомпэчи пран,
 О го бидэшини!
 Бубоно бромия шэшэ
 Ами эшэчи нутоно дэшэ.
 Ами отити томар ддарэ,
 О го бидэшини!

Перевод.

Я знаю, ах, знаю тебя
 О странница!
 Твоя обитель за морем
 О странница!
 Я видал тебя осенними утрами,
 Я видал тебя весенними ночами,
 Я видал тебя в тайнике моего сердца,
 О странница!
 Вслушиваясь в небо,
 Слышу, слышу твою там песнь!
 Я отдал тебе мою жизнь,
 О странница!
 Обойдя весь мир, под конец
 Пришел я в неведомую страну.
 Гостем стою я у твоей двери,
 О странница!

ОГЛАВЛЕНИЕ

	СТР.
Предисловие переводчика	7
Гл. 1. Воспоминания	21
» 2. Начало учения	23
» 3. Внутри и снаружи	26
» 4. Сервократия	37
» 5. Нормальная школа	42
» 6. Версификация	45
» 7. Разнообразные занятия	48
» 8. Первое знакомство с внешним миром	53
» 9. Упражнения в поэзии	56
» 10. Шриканта Бабу	58
» 11. Наш бенгальский курс кончается	61
» 12. Профессор	64
» 13. Мой отец	69
» 14. Я отправляюсь в путешествие с отцом	76
» 15. В Гималаях	87
» 16. Мое возвращение	93
» 17. Занятия дома	100
» 18. Домашние	104
» 19. Литературные знакомства	110
» 20. Печатание	117
» 21. Бану Синха	118

	СТР.
Гл. 22. Патриотизм	120
» 23. «Барати»	127
» 24. Ахмедабад	131
» 25. Англия	133
» 26. Локен Палит	148
» 27. «Разбитое сердце»	150
» 28. Европейская музыка	157
» 29. Vālmîki Pratibhâ	160
» 30. «Вечерние Песни»	165
» 31. Опыт о музыке	168
» 32. Берег реки	172
» 33. Еще о «Вечерних Песнях»	174
» 34. «Утренние Песни»	177
» 35. Раджендралал Митра	186
» 36. Карвар	190
» 37. «Месть Естества»	192
» 38. «Картины и Песни»	194
» 39. Промежуточный период	196
» 40. Банким Чандра	199
» 41. Остов парохода	203
» 42. Утраты	205
» 43. Дожди и Осень	210
» 44. «Диэзы и бемоли»	213
Примечания переводчика	218
Приложения: I. Хронологическая схема	230
II. Образец песни Тагора	232

„ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:

- П. Амн. — „Искатели золота“.
Г. Бергстедт — „Праздник Йоргена“.
Сириль Берже — „В то время, как он сражается“.
Б. Богаевский — „Крит и Микены“.
К. Гамсун — „Местечко Сегельфос“.
О. Генри — „Рассказы жулика“.
Л. Деллюк — „В дебрях кинематографа“.
Э. Зелигер — „Петер Фосс“.
Ф. де-Миомандр — „Золотой телец“.
Э. По — „Стихи“.
Б. Шо — „Назад к Мафусаилу“.
„Французская революция в провинции и на фронте“.
„Хетты и хеттская культура“.

ВЫШЛИ В СВЕТ

издаваемые „ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ“ журналы:

„СОВРЕМЕННЫЙ ЗАПАД“

Под редакцией Е. И. Замятина, А. Н. Тихонова,
К. И. Чуковского и Абр. Эфроса.

№№ 1, 2, 3 и 4.

Печатается № 5.

„ВОСТОК“

Под редакцией академика С. Ф. Ольденбурга, академика И. Ю. Крачковского, профессора В. М. Алексеева, профессора Б. Я. Владимирцева и А. Н. Тихонова.

№№ 1, 2, 3 и 4.

Печатается № 5.

— 1Р —

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“
ЛЕНИНГРАД
МОХОВАЯ, № 36.